## Жан Бодрийяр

# СИСТЕМА ВЕЩЕЙ

### Структурированное содержание:

### [Введение.](" \l "_Toc528060057)

### [А. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ ДИСКУРС ОБЪЕКТА](" \l "_Toc528060058)

#### [I. Структуры расстановки](" \l "_Toc528060059)

* + 1. [ТРАДИЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА](#_Toc528060060)
    2. [СОВРЕМЕННАЯ ВЕЩЬ, СВОБОДНАЯ В СВОЕЙ ФУНКЦИИ](#_Toc528060061)
    3. [ИНТЕРЬЕР-МОДЕЛЬ](#_Toc528060062)
       1. [Корпусные блоки](#_Toc528060063)
       2. [Стены и свет](#_Toc528060064)
       3. [Освещение](#_Toc528060065)
       4. [Зеркала и портреты](#_Toc528060066)
       5. [Часы и время](#_Toc528060067)
    4. [НА ПУТИ К СОЦИОЛОГИИ РАССТАНОВКИ?](#_Toc528060068)
    5. [ЧЕЛОВЕК РАССТАНОВКИ](" \l "_Toc528060069)

#### [II. Структуры среды](" \l "_Toc528060070)

* + 1. [СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: КРАСКИ](#_Toc528060071)
       1. [Традиционная окраска](#_Toc528060072)
       2. [«Природная» окраска](#_Toc528060073)
       3. [«Функциональная» окраска](#_Toc528060074)
       4. [Тепло и холод](#_Toc528060075)
    2. [СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: МАТЕРИАЛЫ](#_Toc528060076)
       1. [Природное и культурное дерево](#_Toc528060077)
       2. [Логика среды](#_Toc528060078)
       3. [Материал-модель: стекло](#_Toc528060079)
    3. [ЧЕЛОВЕК ОТНОШЕНИЙ И СРЕДЫ](#_Toc528060080)
       1. [Мягкая мебель](#_Toc528060081)
       2. [Окультуренность и цензура](#_Toc528060082)
    4. [СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: ЖЕСТУАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ](#_Toc528060083)
       1. [Традиционная жестуальность усилия](#_Toc528060084)
       2. [Функциональная жестуальность контроля](#_Toc528060085)
       3. [Новое оперативное поле](#_Toc528060086)
       4. [Миниатюризация](#_Toc528060087)
    5. [СТИЛИЗАЦИЯ - СПОДРУЧНОСТЬ - УПАКОВКА](#_Toc528060088)
       1. [Конец символического измерения](#_Toc528060089)
       2. [Абстракция могущества](#_Toc528060090)
       3. [Функционалистский миф](#_Toc528060091)
       4. [Функциональная форма: зажигалка](#_Toc528060092)
       5. [Формальная коннотация: крыло автомобиля](#_Toc528060093)
       6. [Алиби формы](#_Toc528060094)

#### [III. Заключение: природность и функциональность](" \l "_Toc528060095)

#### [ПРИЛОЖЕНИЕ: ДОМАШНИЙ МИР И АВТОМОБИЛЬ](" \l "_Toc528060096)

### [В. НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ ДИСКУРС СУБЪЕКТА](" \l "_Toc528060097)

#### [I. Маргинальная вещь — старинная вещь](" \l "_Toc528060098)

* + 1. [ЭФФЕКТ СРЕДЫ: ИСТОРИЧНОСТЬ](#_Toc528060099)
    2. [СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: МИФ О ПЕРВОНАЧАЛЕ](#_Toc528060100)
    3. [«ПОДЛИННОСТЬ»](#_Toc528060101)
    4. [НЕОКУЛЬТУРНЫЙ СИНДРОМ: РЕСТАВРАЦИЯ](#_Toc528060102)
    5. [СИНХРОНИЯ, ДИАХРОНИЯ, АНАХРОНИЯ](#_Toc528060103)
    6. [ОБРАТНАЯ ПРОЕКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ У ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА](#_Toc528060104)
    7. [РЫНОК СТАРИНЫ](#_Toc528060105)
    8. [КУЛЬТУРНЫЙ НЕОИМПЕРИАЛИЗМ](#_Toc528060106)

#### [II. Маргинальная система: коллекция](" \l "_Toc528060107)

* + 1. [ВЕЩЬ, АБСТРАГИРОВАННАЯ ОТ ФУНКЦИИ](#_Toc528060108)
    2. [ПРЕДМЕТ-СТРАСТЬ](#_Toc528060109)
    3. [ЛУЧШЕЕ ИЗ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ](#_Toc528060110)
    4. [СЕРИЙНАЯ ИГРА](#_Toc528060111)
    5. [ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ: УНИКАЛЬНАЯ ВЕЩЬ](#_Toc528060112)
    6. [ВЕЩИ И ПРИВЫЧКИ: ЧАСЫ](#_Toc528060113)
    7. [ВЕЩЬ И ВРЕМЯ: УПРАВЛЯЕМЫЙ ЦИКЛ](#_Toc528060114)
    8. [ТАИМАЯ ВЕЩЬ: РЕВНОСТЬ](#_Toc528060115)
    9. [ДЕСТРУКТУРИРУЕМАЯ ВЕЩЬ: ПЕРВЕРСИЯ](#_Toc528060116)
    10. [ОТ СЕРИЙНОЙ МОТИВАЦИИ К МОТИВАЦИИ РЕАЛЬНОЙ](#_Toc528060117)
    11. [САМОНАПРАВЛЕННЫЙ ДИСКУРС](#_Toc528060118)

### [С. МЕТА- И ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ГАДЖЕТЫ И РОБОТЫ](" \l "_Toc528060119)

* + [«ТЕХНИЧЕСКАЯ» КОННОТАЦИЯ: АВТОМАТИКА](#_Toc528060120)
  + [«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ» ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ](#_Toc528060121)
  + [ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ: ГАДЖЕТ](#_Toc528060122)
  + [ПСЕВДОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: «ШТУКОВИНА»](#_Toc528060123)
  + [МЕТАФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: РОБОТ](#_Toc528060124)
  + [АВАТАРЫ ТЕХНИКИ](#_Toc528060125)
  + [ТЕХНИКА И СИСТЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО](#_Toc528060126)

### [D. СОЦИОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ](" \l "_Toc528060127)

#### [I. Модели и серии](" \l "_Toc528060128)

* + 1. [ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВЕЩЬ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ](#_Toc528060129)
    2. [«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ» ВЕЩЬ](#_Toc528060130)
       1. [Выбор](#_Toc528060131)
       2. [Маргинальное отличие](#_Toc528060132)
    3. [ИДЕАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ](#_Toc528060133)
    4. [ОТ МОДЕЛИ К СЕРИИ](#_Toc528060134)
       1. [Технический дефицит](#_Toc528060135)
       2. [Дефицит «стиля»](#_Toc528060136)
       3. [Классовая рознь](#_Toc528060137)
       4. [Привилегия актуальности](#_Toc528060138)
       5. [Личность в беде](#_Toc528060139)
       6. [Идеология моделей](#_Toc528060140)

#### [II. Кредит](" \l "_Toc528060141)

* + 1. [ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА ПОТРЕБИТЕЛЯ](#_Toc528060142)
    2. [ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: НОВАЯ ЭТИКА](#_Toc528060143)
    3. [ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ПОКУПКИ](#_Toc528060144)
    4. [ВОЛШЕБСТВО ПОКУПКИ](#_Toc528060145)
    5. [ДВОЙСТВЕННОСТЬ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ](#_Toc528060146)

#### [III. Реклама](" \l "_Toc528060147)

* + 1. [ДИСКУРС О ВЕЩАХ И ДИСКУРС-ВЕЩЬ](#_Toc528060148)
    2. [РЕКЛАМНЫЙ ИМПЕРАТИВ И ИНДИКАТИВ](#_Toc528060149)
    3. [ЛОГИКА ДЕДА МОРОЗА](#_Toc528060150)
    4. [ИНСТАНЦИЯ МАТЕРИ: КРЕСЛО «ЭРБОРН»](#_Toc528060151)
    5. [ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ](#_Toc528060152)
    6. [ДВОЙСТВЕННАЯ ИНСТАНЦИЯ: ОДАРИВАНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ](#_Toc528060153)
    7. [ПРЕЗУМПЦИЯ КОЛЛЕКТИВА](#_Toc528060154)
       1. [Стиральный порошок «Пакс»](#_Toc528060155)
    8. [ГАРАП](#_Toc528060156)
    9. [НОВЫЙ ГУМАНИЗМ?](#_Toc528060157)
       1. [Серийная постановка рефлекса](#_Toc528060158)
    10. [НОВЫЙ ЯЗЫК?](#_Toc528060159)
        1. [Универсальный код: стэндинг](#_Toc528060160)

### [Заключение: к определению понятия «потребление»](" \l "_Toc528060161)

# О ПЕРВОЙ КНИГЕ ЖАНА БОДРИЙЯРА

«Система вещей» вышла впервые в 1968 году и сразу при­несла славу своему автору, французскому ученому и эссеис­ту Жану Бодрийяру (род. в 1929 г.). Целая сфера современ­ного общественного быта — потребление товаров, вещей — открылась в ней для исследования строгими научными ме­тодами и одновременно для глубокой социальной критики.

Потребление, по мысли Бодрийяра, - это характерно современный феномен, определяющий признак так назы­ваемого общества изобилия. В таком обществе использова­ние вещей не исчерпывается их простым практическим при­менением (какое имело место всегда и всюду) или даже их семиотическим применением как знаков отличия, богат­ства, престижа и т.д. (что тоже встречается во всех челове­ческих обществах). Потребление — это интенсивный про­цесс выбора, организации и регулярного обновления быто­вых вещей, в котором неизбежно участвует каждый член общества. Приобретая вещи, человек стремится к вечно ус­кользающему идеалу - модному образцу-модели, опережа­ет время благодаря покупке в кредит, пытается зафиксиро­вать и присвоить себе время, собирая старинные, коллек­ционные вещи. Свои фантазмы и тревоги он проецирует на технические игрушки современной цивилизации - так на­зываемые «гаджеты», на сложные автоматы и полуфантас­тических роботов, этот гибрид вещи и человека. Для утвер­ждения и регулирования такого способа обращения с вещами служит реклама, цель которой — не столько способ­ствовать продаже того или иного конкретного товара, сколь­ко внедрять в сознание людей целостный образ общества, «одаривающего» своих членов материальными благами. Понятое таким образом, потребительство не знает предела

4

и насыщения, поскольку имеет дело не с вещами как тако­выми, а с культурными знаками, обмен которыми идет не­прерывно и бесконечно, со все нарастающей скоростью. Эти знаки четко соотносятся друг с другом в рамках струк­турного кода, зато все больше отрываются от референтно­го, то есть собственно человеческого (личностного или ро­дового) смысла; это знаки дегуманизированной культуры, в которой человек отчужден.

«Система вещей» вышла в пору расцвета французского структурализма и поначалу могла восприниматься как одно из произведений этого научного направления. Действитель­но, Бодрийяр широко пользуется лингвистическими кате­гориями структуральной семиотики — прежде всего поня­тием «коннотации», дополнительного смысла, приписыва­емого обществом обычному знаку или, в данном случае, вещи; он открыто опирается на опыт Ролана Барта, кото­рый в книге «Мифологии» (1957) обосновал это понятие и в работах последующих лет стремился распространить семи­отические методы на сферу повседневного быта. Само на­звание книги Бодрийяра — «Система вещей» - соотносится с заголовком последней на тот момент работы Барта «Сис­тема моды» (1967), с которой ее сближает и задача методи­ческого описания легковесной, казалось бы, сферы быто­вых вкусов и привычек как стройной многоуровневой сис­темы значений. Однако первая книга Бодрийяра уже содержит в себе и неявную критику структурализма: дело в том, что системное манипулирование вещами-знаками, ко­торым занимается структуралист-аналитик, имеет себе со­ответствие и на уровне самого «общества потребления» -например, в той же деятельности коллекционера. Структур­ный метод из научного метаязыка, метода критики совре­менного общества незаметно превращается в один из объек­тов критического анализа. Подобное происходит в «Сис­теме вещей» и с марксизмом, популярным в то время среди французских интеллектуалов (не лишне напомнить, что книга вышла в 1968 году - в год «студенческой револю­ции» в Париже, причем застрельщиками массовых выступ-

5

лений явились тогда студенты Нантерского университета -того самого, где преподавал социологию Жан Бодрийяр). С одной стороны, в книге сделана попытка углубить маркси­стскую критику буржуазного общества, выявив механизмы подчинения, отчуждения личности не только в сфере товар­ного производства, но и в сфере потребления, которую мар­ксисты до тех пор были скорее склонны считать прибежи­щем человеческой свободы и индивидуальности. С другой стороны, такое углубление и расширение перспективы вско­ре показало Бодрийяру, что сам феномен капиталистичес­кого производства в новейшую эпоху уже не является цент­ральным и определяющим, что он сам включен в систему знаковых отношений на правах более или менее условной подсистемы. Поэтому Бодрийяру пришлось заменить поли­тическую экономию материального производства и обраще­ния более обобщенной «политической экономией знака» («К критике политической экономии знака», 1972), а само производство предстало ему обманчивым призраком-симу­лякром, кривым зеркалом общественного сознания («Зер­кало производства», 1973).

В «Системе вещей» впервые вводится, хотя и без четко­го определения, это центральное понятие зрелого Бодрий­яра — «симулякр», то есть ложное подобие, условный знак чего-либо, функционирующий в обществе как его замести­тель. Примеры, приводимые автором книги (например, си­мулякр природности, которой искусственно окружает себя отдыхающий «на лоне природы» отпускник, или же симу­лякр истории, ностальгически обустраиваемый хозяином со­временного дома путем включения в его конструкцию ос­татков старинной фермы, разрушенной при его строитель­стве), показывают, что он и здесь исходит из размышлений Р.Барта об обманчивой «натурализации» идеологических значений, о превращении реальной природы (или же исто­рии) в условный знак природности или историчности. Прав­да, в своем анализе бытовых вещей Бодрийяр еще выделяет «нулевой уровень» симуляции - уровень чисто функцио­нальных, собственно технологических задач и решений, ко-

6

торые внутренне не зависят от знаковой системы потребле­ния, однако могут искажаться и сдерживаться ею в своем развитии. Именно под давлением этой системы, пишет он вслед за другими социологами (Льюисом Мамфордом, Эд­гаром Мореном), бытовая техника уже несколько десятиле­тий переживает стагнацию, не обогащаясь какими-либо принципиально новыми объектами и решениями; в скором будущем его безрадостная констатация была опровергнута появлением такой революционной технической новинки, как персональный компьютер... В позднейших своих рабо­тах — и, пожалуй, только в этом отношении «Система ве­щей» может считаться его «ранней» книгой - Бодрийяр был вынужден оставить идею «настоящей» технической реаль­ности вещей, опираясь на которую можно было бы вести критику неподлинных подобий; симулякры у него все бо­лее и более заполняют мир, не давая никакого доступа к «подлинности». Такая обобщенная критическая теория со­временного мира как мира знаков и подобий выдвинула зре­лого Бодрияйра в ряд ведущих теоретиков так называемого постмодернистского состояния общества, которому соот­ветствуют и новейшие формы постмодернистского искус­ства (их анализу также посвящены многие тексты Бодрийя­ра 70-90-х годов).

Первая книга Жана Бодрийяра, как и вообще его твор­чество, отличается ясностью изложения, парадоксальным остроумием мысли, блеском литературно-эссеистического стиля. В ней новаторски ставятся важнейшие проблемы со­циологии, философии, психоанализа, семиотики и искус­ствознания. Для России, с запозданием приобщившейся или приобщающейся к строю общества потребления, эта книга сегодня особенно актуальна, помогая трезво оценить чело­веческие возможности подобного общества, перспективы личностного самоосуществления живущих в нем людей.

*С. Зенкин*

# Введение

Поддается ли классификации буйная поросль вещей — наподобие флоры или фауны, где бывают виды тропичес­кие и полярные, резкие мутации, исчезающие виды? В на­шей городской цивилизации все быстрее сменяют друг дру­га новые поколения продуктов, приборов, «гаджетов», в сравнении с которыми человек выступает как вид чрезвы­чайно устойчивый. Если вдуматься, их изобилие ничуть не более странно, чем бесчисленная множественность природ­ных видов, а им человек уже составил подробную опись. Причем в ту самую эпоху, когда он начал делать это систе­матически, он сумел также создать в Энциклопедии исчер­пывающую картину окружавших его бытовых и техничес­ких предметов. В дальнейшем равновесие нарушилось: бы­товые вещи (о машинах здесь речи нет) стремительно размножаются, потребностей становится все больше, про­цесс производства заставляет вещи рождаться и умирать все быстрее, в языке не хватает слов, чтобы их именовать. Так возможно ли расклассифицировать этот мир вещей, меняющийся у нас на глазах, возможно ли создать его деск­риптивную систему? Критериев классификации как будто почти столько же, сколько самих вещей: классифицировать вещи можно и по величине, и по степени функциональнос­ти (как вещь соотносится со своей объективной функцией), и по связанной с ними жестуальности (богатая она или бед­ная, традиционная или нет), и по их форме, долговечности, и по тому, в какое время дня они перед нами возникают (на­сколько прерывисто они присутствуют в поле нашего зре­ния и насколько мы это осознаем), и по тому, какую мате­рию они трансформируют (это ясно в случае кофемолки —

10

временном моторе каждая сколько-нибудь важная деталь так тесно связана с другими через процессы энергетического обмена, что она уже не может быть другой... В зависимости от формы головки цилиндра, от металла, из которого она сделана, от их взаимосвязи с другими элементами цикла определяется степень нагрева электродов свечи зажигания; в свою очередь эта температура влияет на характеристики зажигания и всего мотора в целом.

Современный мотор конкретен, прежде же он был абстрактен. В старом моторе та или иная деталь участвует в цикле внутреннего сгорания лишь в определенный момент, а дальше уже как бы не воздействует на другие детали; части мотора подобны работникам, сменяющим друг друга в од­ном и том же трудовом процессе, но не знакомым между собой... Существует, таким образом, некая примитивная, абстрактная форма технической вещи, где каждая теорети­ческая или материальная единица понимается как некий абсолют, который для своего нормального функционирова­ния должен образовывать замкнутую систему. При этом про­блема интеграции деталей в целое распадается на ряд част­ных проблем, решаемых по отдельности... для каждой из основных частей мотора создаются особые структуры, ко­торые можно назвать защитными: например, головку ци­линдра для охлаждения делают ребристой. Эти ребра как бы приставлены извне к идеальному цилиндру и его головке, выполняя одну-единственную функцию охлаждения. В двигателях же последних лет эти ребра играют еще и ме­ханическую роль — служат ребрами жесткости, препятству­ющими деформации головки под давлением газов... Обе функции больше не различимы — образовалась единая структура, представляющая собой не компромисс, но взаи­моналожение и конвергенцию двух функций. Ребристую головку можно сделать более тонкой, что позволяет добиться более быстрого охлаждения; то есть бивалентная система ребер охлаждения / ребер жесткости синтезирует в себе две

11

прежде различных функции, и притом выполняет их более качественно; интегрируя эти две функции, она превосходит каждую из них... Мы можем, таким образом, сказать, что эта структура конкретнее прежней и знаменует собой объективный процесс развития технической вещи; ибо ре­альная технологическая проблема заключается в том, что­бы добиться конвергенции функций в одной структурной единице, а не в том, чтобы искать компромисса между их противоречивыми задачами. В пределе такого движения от абстрактного к конкретному техническая вещь имеет тен­денцию к превращению во всецело связную, всецело объе­диненную систему» (с. 25-26).

Это очень важная мысль: в ней намечается такая внутренняя связность вещей, которая никогда нами не пережи­вается, никогда не осознается в практическом обиходе. Тех­нология излагает нам строго научную историю вещей, где антагонизмы функций разрешаются в рамках все более ши­роких структур. При каждом переходе от одной системы к другой, более интегрированной, при каждой перестройке внутри уже структурированной системы, при каждом син­тезе различных функций возникает новый смысл, некая объективная смысловая структура, независимая от индиви­дов, которые ею пользуются; мы здесь находимся на уровне языкового кода, и по аналогии с лингвистикой эти простые технические элементы, которые отличны от реальных ве­щей и на сочетании которых основывается технологическая эволюция, можно назвать «технемами». На данном уровне могла бы возникнуть структуральная технология — наука об организации этих технем в более сложные технические объекты, об их синтаксисе в рамках простых технических комплексов (отличных от реальных вещей), а также о смыс­ловых взаимоотношениях между этими различными веща­ми и комплексами.

Но подобная наука является строго применимой лишь в узких секторах техники — в лабораторных разработках или

l 2

же в таких высокотехничных областях, как авиация, космо­навтика, судостроение, большегрузные автомобили, сложные станки и т.д. Иными словами, там, где острая техническая необходимость позволяет в полной мере осуществиться тре­бованиям структурности, где в силу коллективного, внеличностного характера предметов сводится к минимуму воздей­ствие моды. Легковой автомобиль всецело определяется ком­бинацией своих форм, тогда как технологический его статус (водяное охлаждение, цилиндровый двигатель и т.д.) остает­ся чем-то второстепенным; напротив, в авиации по чисто функциональным причинам (безопасность, скорость, эффек­тивность) приходится создавать в высшей степени конкрет­ные технические изделия. В подобном случае линия техно­логической эволюции прорисовывается почти безукоризнен­но. Но такой структурно-технологический анализ явно не срабатывает в применении к системе *бытовых* вещей.

Можно мечтать об исчерпывающем описании технем и смысловых отношений между ними, которое охватило бы весь мир реальных вещей; но все это не более чем мечты. Если мы соблазнимся использовать технемы как звезды в астрономии — то есть, по словам Платона, «так же, как в геометрии, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим действительно осво­ить астрономию и использовать еще неиспользованное ра­зумное по своей природе начало нашей души» («Государ­ство», VII)1, — мы немедленно столкнемся с психосоциоло­гической переживаемостью вещей, которая независимо от их материальной ощутимости создает ряд своих требований, постоянно изменяющих и нарушающих связность техноло­гической системы. Здесь нас как раз и интересуют такие нарушения — то, как рациональность вещей борется с ир­рациональностью потребностей и как из такого противоре­чия возникает система значений, пытающаяся его разре­шить; нас будет занимать только это, а не технологические

1 *Платон,* Собр. соч. в 4-х тт., т. 3. М., 1994, с. 314. - *Прим. перев.*

13

модели, хотя именно на фоне их фундаментальной истин­ности и вырисовывается постоянно переживаемая реаль­ность вещи.

Каждый из предметов нашего быта связан с одним или несколькими структурными элементами, но при этом обяза­тельно ускользает от технологической структурности в сфе­ру вторичных значений, от технологической системы в сис­тему культуры. Наше бытовое окружение остается в значи­тельной мере «абстрактной» системой: как правило, в нем уживается множество функционально разобщенных вещей, и лишь человек, исходя из своих потребностей, заставляет их сосуществовать в одном функциональном контексте, в ма­лоэкономичной и малосвязной системе, подобной архаичес­кому устройству примитивных бензиновых моторов; они яв­ляют собой набор частных, зачастую несвязанных или даже противоречащих одна другой функций. При этом современ­ная тенденция такова, чтобы не искать разрешения этой не­связности, а просто отвечать на новые потребности все но­выми вещами. В результате каждая вещь, прибавляясь к уже существующим, отвечает своей собственной функции, зато противоречит единству целого, а бывает даже, что одновре­менно и отвечает и противоречит своей же функции.

Кроме того, поскольку на несвязность функций накладыва­ются формально-технические коннотации, то возникает живо переживаемая, но несущественная система социализирован­ных или бессознательных, культурных или практических потребностей, которая сама воздействует на существенный технический строй вещей и делает сомнительным их объек­тивный статус.

Возьмем для примера кофемолку: в ней структурно «су­щественное», то есть самое конкретно-объективное, — это электромотор, энергия, получаемая с электростанции, за­коны выработки и преобразования энергии; уже менее объективна, так как связана с потребностями того или ино­го человека, ее конкретная функция помола кофе; и уж со-

l 4

всем необъективно, а стало быть, несущественно, то, что она зеленая и квадратная, а не розовая и трапециобразная. Одна и та же структура — электромотор — может конкретизиро­ваться в различных функциях; функциональная дифферен­циация оказывается уже вторичной (и оттого может дойти до полной несвязности «гаджета»). В свою очередь, один и тот же функциональный предмет может конкретизировать­ся в различных формах — здесь мы вступаем в область «пер­сонализации» изделий, в область формальных коннотаций, то есть в область несущественного. А вещи промышленно­го производства тем и отличаются от ремесленных изделий, что несущественные черты определяются здесь не случай­ными вкусами заказчика и исполнителя — они всецело сис­тематизируются современным индустриальным производ­ством1, которое через эти несущественные черты (и через универсальную комбинаторику моды) осуществляет свои собственные цели.

Такая чрезвычайная усложненность ведет к тому, что выделять автономную сферу технологии, делая возможным структуральный анализ в области вещей, приходится при иных предпосылках, чем в области языка. Если исключить предметы чисто технические, с которыми мы никогда не вступаем в субъективное отношение, то окажется, что два уровня — объективной денотации и коннотации (на кото­ром вещь получает психическую нагрузку, идет на продажу, персонализируется, поступает в практический обиход и включается в систему культуры) — в современных условиях производства и потребления не поддаются точному разде­лению, как языковой код и речь в лингвистике. Технологи­ческий уровень не образует структурной автономии, где «ре­чевые факты» (в данном случае — вещь как «вербализован-

1 Ныне, таким образом, становятся относительно систематичны сами модальности перехода от существенного к несущественному. Эта сис­тематизация несущественного имеет социологические и психологические аспекты, у нее имеется также и идеологическая функция интеграции (см. раздел «Модели и серии»).

15

ный» предмет) были бы нерелевантны при анализе вещей, как нерелевантны они при анализе языковых фактов. Если раскатистое или грассирующее произношение «р» ничего не меняет в системе языка, то есть коннотативный смысл ни в чем не подрывает денотативных структур, то в вещи конно­тация ощутимо изменяет и искажает ее технические струк­туры. В отличие от естественного языка, технология не об­разует стабильной системы. Технемы, в противоположность монемам и фонемам, постоянно эволюционируют. А коль скоро система технологии, находясь в состоянии перма­нентной революции, тем самым оказывается тесно привя­зана к временному бытованию «вербализирующих» ее ве­щей (так происходит и с системой языка, но в бесконечно меньшей мере); коль скоро цель подобной системы — по­мочь человеку в освоении мира и удовлетворить его потреб­ности, — цель более конкретная и труднее отделимая от практики, чем коммуникация, составляющая цель языка; коль скоро, наконец, технология жестко обусловлена *соци­альными* факторами, состоянием технологических разрабо­ток, а тем самым и мировым строем производства и потреб­ления (такого внешнего воздействия совсем не испытывает естественный язык), — то из всего этого вытекает, что сис­тема вещей, в отличие от системы языка, может быть *научно* описана лишь постольку, поскольку *вместе с тем* рассмат­ривается как результат постоянного наложения бытовой си­стемы на техническую. Действительное положение дел опи­сывается не столько через внутренне связные структуры тех­ники, сколько через те способы, которыми быт воздействует на технику или, точнее говоря, сковывает ее. Словом, опи­сание системы вещей невозможно без критики практичес­кой идеологии этой системы. На уровне технологии проти­воречия нет: здесь у вещей есть только их прямой смысл. Гуманитарная же наука может быть лишь наукой о смысле *и* его нарушении — о том, каким образом связная система тех­ники диффундирует в бессвязную систему быта, каким об-

16

разом «язык» вещей «вербализуется», каким образом эта си­стема «речи» (или что-то среднее между языковым кодом и речью) устраняет систему кода. То есть, в итоге, о том уров­не, где действует не абстрактная связность системы вещей, а ее непосредственно переживаемая противоречивость1.

1 На основе данного разграничения можно провести тесную аналогию между анализом вещей и лингвистикой, вернее семиологией. То, что в об­ласти вещей мы называем маргинальным, или несущественным раз­личием, аналогично введенному в семиологии понятию «дисперсивного поля»: «Дисперсивное поле образовано вариантами реализации какой-либо единицы (например, фонемы), которые не влекут за собой смысловых изменений (то есть не становятся релевантными)... Имея в виду язык пищи, можно говорить о дисперсивном поле какого-либо блюда; это поле будет ограждено границами, в пределах которых данное блюдо остается значимым, каковы бы ни были индивидуальные «новации» его изготови­теля. Варианты, образующие дисперсивное поле, называются комбина­торными вариантами: они не участвуют в коммутации смысла, не явля­ются релевантными... Эти варианты долгое время рассматривались как факты речи. Они и на самом деле очень близки к речи, но в настоящее время их считают фактами языка, если они имеют «обязательный» харак­тер» (Ролан Барт — «Коммюникасьон», № 4, с. 128)\*. И далее Р. Барт пи­шет, что это понятие призвано сделаться центральным в семиологии, ибо подобные варианты, незначимые в плане денотации, могут стать значи­мыми в плане коннотации.

Как мы видим, между комбинаторными вариантами и маргинальны­ми различиями существует глубокая аналогия: и те и другие касаются не­существенных черт, лишены релевантности, связаны с комбинаторикой и обретают свой смысл на уровне коннотации. Но есть и принципиальная разница: если комбинаторные варианты остаются внешними и безразлич­ными по отношению к семиологическому плану денотации, то маргиналь­ные различия именно что никогда не «маргинальны». Действительно, тех­нология, в отличие от системы языка в лингвистике, составляет здесь не устойчивую методологичскую абстракцию, воздействующую на реальный мир через изменчивость коннотации, но развивающуюся структурную схе­му, которая под действием коннотации (несущественных различий) ста­новится фиксированной, стереотипной и регрессивной. Структурная ди­намика техники застывает на уровне вещей, в дифференциальной субъек­тивности системы культуры, а та в свою очередь оказывает обратное действие и на уровне техники.

\* Ср.: *Р.Барт.* Основы семиологии. — В кн.: Структурализм: «за» и «против». М., 1975, с. 154-155. — *Прим. перев.*

# А. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ ДИСКУРС ОБЪЕКТА

l 8

## I. Структуры расстановки

### ТРАДИЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В расположении мебели точно отражаются семейные и социальные структуры эпохи. Типичный буржуазный ин­терьер носит патриархальный характер — это столовая плюс спальня. Вся мебель здесь, различная по своим фун­кциям, но жестко включенная в систему, тяготеет к двум центральным предметам — буфету или кровати. Действует тенденция занять, загромоздить все пространство, сделать его замкнутым. Всем вещам свойственна монофункцио­нальность, несменяемость, внушительность присутствия и иерархический этикет. У каждого предмета строго одно назначение, соответствующее той или иной функции се­мьи как ячейки общества, а в более отдаленной перспек­тиве это отсылает к представлению о личности как об урав­новешенном наборе отличных друг от друга способностей. Предметы переглядываются между собой, сковывают друг друга, образуя скорее моральное, чем пространственное единство. Все они располагаются на одной оси, обеспечи­вающей регулярную последовательность поступков и сим­волизирующей постоянную явленность семьи самой себе. В свою очередь, и каждый предмет в таком приватном про­странстве усваивает себе свою функцию и получает от нее символическое достоинство; на уровне дома в целом меж­личностные отношения окончательно включаются в полу­замкнутую систему семейства.

Все вместе это образует особый организм, построенный на патриархальных отношениях традиции и авторитета, в сердце же его — сложная аффективная соотнесенность

19

его членов. Семейный дом — специфическое пространство, мало зависящее от объективной расстановки вещей, ибо в нем главная функция мебели и прочих вещей — воплощать в себе отношения между людьми, заселять пространство, где они живут, то есть быть одушевленными1. Реальная перс­пектива, в которой они живут, порабощена моральной пер­спективой, которую они призваны обозначать. В своем про­странстве они столь же мало автономны, как и члены семьи в обществе. Вообще, люди и вещи тесно связаны между со­бой, и в такой согласованности вещи обретают внутреннюю плотность и аффективную ценность, которую принято на­зывать их «присутствием». Очевидно, именно из-за этой сложной структуры внутреннего пространства, где вещи очерчивают у нас перед глазами символические контуры фи­гуры, именуемой жилищем, — очевидно, именно из-за нее у нас в памяти столь глубоко запечатлевается образ родного дома. Разделенность внутреннего и внешнего пространства, их формальная противопоставленность в социальном пла­не собственности и в психологическом плане имманентно­сти семьи превращают такое традиционное пространство в нечто замкнуто-трансцендентное. Вещи, словно антропо­морфные боги-лары, воплощающие в пространстве аффек­тивные связи внутри семейной группы и ее устойчивость, становятся исподволь бессмертными, до тех пор пока но­вое поколение не разрознит их, не уберет с глаз долой или же, в некоторых случаях, не восстановит их в правах нос­тальгически актуальных «старинных» вещей. Как нередко бывает и с богами, предметы обстановки порой обретают второе рождение, из наивного обихода перемещаясь в кате­горию культурных причуд.

Эта система «столовая — спальня», структура движимой собственности, соответствующая дому как структуре недвижимости, все еще пропагандируется рекламой в ши­роких кругах публики. Такие магазины, как «Левитан» или «Галери Барбес», по-прежнему внушают общественному вкусу нормы «декоративной» обстановки, пусть даже линии

1 Кроме того, в них может быть — но может и не быть — вкус и стиль.

20

ее «стилизованы», а все убранство в целом уже не столь нас умиляет. Подобная мебель находит покупателя не потому, что стоит дешевле, а потому, что ею как бы официально сан­кционируется буржуазная семейная группа. Таким образом, подобным вещам-монументам (кроватям, буфетам, шифо­ньерам) и их взаимной соотнесенности соответствует стой­кость традиционных семейных структур в весьма широких слоях современного общества.

### СОВРЕМЕННАЯ ВЕЩЬ, СВОБОДНАЯ В СВОЕЙ ФУНКЦИИ

Одновременно с переменой во взаимоотношениях ин­дивида с семьей и обществом меняется и стиль домашней обстановки. Традиционные гарнитуры уступают место уг­ловым диванам, задвинутым в угол кроватям, низким сто­ликам, стеллажам, блочной мебели. Меняется и вся орга­низация обстановки: кровать скрадывается, превращаясь в диван-кровать, буфеты и шифоньеры — в скрытые стен­ные шкафы. Вещи складываются и раскладываются, то исчезая, то вновь появляясь в нужный момент. Разумеет­ся, подобные новинки не имеют ничего общего с вольной импровизацией — в большинстве случаев такая повышен­ная подвижность мебели, ее многофункциональность и способность до времени исчезать из виду происходят про­сто от вынужденного приспособления к недостатку жилой площади; это ухищрения от бедности. Поэтому если прежде столовый гарнитур нес на себе тяжелую нагрузку мораль­ных условностей, то тонко продуманные современные ин­терьеры часто производят впечатление чисто функцио­нальных решений. Им «не хватает стиля» просто потому, что не хватает места, их максимальная функциональность возникает от нужды, когда жилище, не утрачивая внутрен­ней замкнутости, утрачивает свою внутреннюю организо­ванность. Таким образом, деструктурирование простран­ства и «присутствия» вещей, не сопровождаемое их преоб­разованием, — это прежде всего обеднение.

21

Итак, современный серийный гарнитур предстает деструктурированным, но не реструктурированным вновь; ничто не компенсирует в нем выразительную силу прежнего символического строя. Однако в этом есть и прогресс — более либеральные отношения между инди­видом и такого рода вещами, не осуществляющими и не символизирующими более морального принуждения; че­рез такие вещи индивид уже не так жестко соотносится с семьей1. Благодаря их подвижности и многофункциональ­ности он становится свободнее в организации простран­ства, что отражает и его более широкие возможности в социальных отношениях. Но подобное освобождение — сугубо неполное. Среди серийных вещей, при отсутствии новой структурированности пространства, такая «функ­циональная» эволюция оказывается, пользуясь термино­логией Маркса, лишь эмансипацией, а не освобождени­ем, означая *освобождение функции вещи, но не самой вещи.* Такие предметы, как легкий, разборный, нейтрального стиля стол или кровать без ножек, занавесей и балдахина — так сказать, нулевая ступень кровати, — такие предме­ты с «чистыми» очертаниями, как бы даже непохожие на самих себя, сводятся к наипростейшей конструктивной схеме и окончательно секуляризуются: в них стала сво­бодной и тем самым освободила нечто в человеке их фун­кция (или же человек, освобождая себя, освободил ее в вещах). Эта функция более не затемняется моральной те­атральностью старинной мебели, она не осложнена более ритуалом, этикетом — всей этой идеологией, пре­вращавшей обстановку в непрозрачное зеркало овеществ­ленной структуры человека. Нынешние вещи наконец стали кристально прозрачны в своем функциональном на­значении. Таким образом, они свободны в качестве *объек­та той или иной функции,* то есть обладают свободой

1 Вопрос, однако, в том, не оказывается ли он через их посредство свя­занным со всем обществом в целом; см. на этот счет раздел «Модели и серии».

22

функционировать и (в случае серийных вещей) практически не имеют никакой иной свободы1.

Но пока *вещь освобождена лишь в своей функции, человек тоже освобожден лишь в качестве пользователя этой вещи.* Следует повторить: это прогресс, но все-таки не решитель­ный шаг. Кровать есть кровать, стул есть стул — между ними нет никаких отношений, пока они служат лишь по своему прямому назначению. А без их соотнесенности нет и про­странства, так как пространство существует лишь будучи открыто, призвано к жизни, наделено ритмом и широтой в силу взаимной соотнесенности вещей — новой структу­ры, превосходящей их функции. Пространство — это как бы действительная свобода вещи, тогда как функция — ее формальная свобода. Буржуазная столовая обладала струк­турностью, но то была замкнутая структура. Функциональ­ная обстановка более открыта, более свободна, зато лише­на структурности, раздроблена на различные свои функ­ции. Между этими двумя полюсами — интегрированным психологическим и раздробленным функциональным про­странством — и располагаются серийные вещи, соприка­саясь и с тем и с другим, порой даже в рамках одного и того же интерьера.

### ИНТЕРЬЕР-МОДЕЛЬ

#### Корпусные блоки

Подобное небывалое прежде пространство, где нет уже ни внешней принужденности, ни внутренней укромности, подобная свобода и «стильность», каких не найти в серий­ных вещах, порабощенных своею функцией, — все это на-

1 Сходным образом буржуазно-промышленная революция постепенно избавляет индивида от повязанности религиозными, моральными, се­мейными структурами, он обретает свободу де-юре в качестве человека, но де-факто — лишь в качестве рабочей силы, то есть свободу продавать себя как рабочую силу. Это не случайное совпадение, но глубокое соответствие: «функциональный» серийный предмет, равно как и социальный индивид, освобождается в своей «функциональной» объективированности, но не в своей особенности и целостности, как вещь или как личность.

23

личествует зато в интерьерах-моделях. В них обнаруживается некая новая структура и некая значимая эволюция1.

Перелистывая роскошные журналы — «Мэзон франсез», «Мобилье э декорасьон» и другие2, можно заметить в них две чередующихся темы. С одной стороны, это великолепные, из ряда вон выходящие дома, старинные здания XVIII века, чудесно оборудованные виллы, итальянские сады с инфра­красным отоплением, обставленные этрусскими статуэтками, - одним словом, мир уникального, который следует лишь созерцать, не питая никаких (по крайней мере, соци­ологически оправданных) надежд его обрести. Все эти мо­дели аристократического жилища своей абсолютной цен­ностью поддерживают вторую тему — тему современного интерьера. Предлагаемые здесь вещи и предметы обстанов­ки, хотя и относятся к высокому уровню «стэндинга», все же допускают социальную реализацию, это уже не просто воображаемые, внекоммерческие творения, а именно *модели* в точном смысле слова. Из области чистого искусства мы попадаем в сферу, затрагивающую, по крайней мере в по­тенции, все общество.

Такого рода авангардные модели мебели строятся на фундаментальной оппозиции *корпусные блоки/мягкая мебель* и подчиняются практическому императиву *расстановки,* то есть синтагматической исчислимости, которому противо­стоит (так же как мягкая мебель противостоит корпусной) общее понятие домашней *«среды».*

«**ТЕКМА**: составные корпусные блоки, которые можно сочле­нять, трансформировать и расширять; гармонически сочета­ясь, они образуют безупречно однородную обстановку; они функциональны и удовлетворяют всем требованиям современ-

1 Таким образом, происходит это на уровне привилегированной части общества. Существует целая проблема — социологическая и социальная, — состоящая в том, что определенная узкая группа людей обладает конк­ретной свободой через посредство своих вещей или домашней обстановки выступать в качестве модели в глазах всего общества. Эта проблема будет обсуждаться ниже (раздел «Модели и серии»).

2 Невозможно представить себе журнала, посвященного серийной ме­бели; для этой цели существуют лишь каталоги.

24

ной жизни. Они отвечают на все ваши потребности: в каталоге имеются полки для книг, бар, блок для радио, платяной шкаф, вешалка, секретер, буфет, комод, шкаф для посуды, полки под стеклом, стеллаж для бумаг, выдвижной стол.

ТЕКМА изготовляется из смолистого тика или из лакирован­ного красного дерева».

«ОСКАР: создайте своими руками среду своего дома в стиле ОСКАР! Увлекательно и непривычно! ОСКАР — это мебель­ный конструктор, комплект деталей для сборки.

Откройте для себя удовольствие своими руками построить уменьшенную красочную модель своей обстановки! Вы созда­ете ее у себя дома, не спеша, пробуя разные варианты!

Наконец, найдя окончательное решение, вы заказываете себе гарнитур ОСКАР по оригинальной персональной модели, и он станет гордостью вашего дома!»

«МОНОПОЛИ: Любой из гарнитуров МОНОПОЛИ станет лучшим другом вашей индивидуальности. Это высоко­качественная столярная работа по тику или макоре, четырех­сторонние корпусные блоки со скрытыми сочленениями, допус­кающие бесконечно многообразную компоновку мебели в полном соответствии с вашими вкусами, мерками, потребностями.

Корпусные блоки едины по форме и многообразны по комби­нациям; остановив на них свой выбор, вы и в своем доме со­здадите изысканную атмосферу, о которой мечтаете».

Подобные примеры показывают, как над функциональной вещью надстраивается некий новый уровень организации быта. Символические и потребительские ценности отступа­ют на второй план, оттесняемые смысловыми элементами организационного порядка. Субстанция и форма старой ме­бели окончательно отбрасываются ради предельно свободной игры функций. Вещи более не наделяются «душой» и не наде­ляют нас более своим символическим «присутствием»; наше отношение к ним делается объективным, сводится к разме­щению и комбинаторной игре. Значимость такого отношения

25

-- уже не инстинктивно-психологического, а тактического порядка. Знаками вашей личности служат те или иные при­емы конструктивной игры, а не ваше таинственно-уникаль­ное отношение к вещам. Устраняется фундаментальная замк­нутость домашнего интерьера, и происходит это параллельно с изменением социальных и межличностных структур.

#### Стены и свет

Сами комнаты выходят за традиционные рамки стен, делавшие дом укромным пространством-убежищем. Ком­наты распахиваются, всецело сообщаются друг с другом, разбиваются на подвижные сектора, когда в каждом углу образуется своя особая зона, плавно переходящая в сосед­ние. Происходит либерализация комнат. Окна — это уже не отверстия для воздуха и света, который раньше падал на вещи *извне* и освещал их *«как изнутри».* По сути, окон боль­ше нет, а свет, вместо того чтобы проникать извне, стал как бы универсальным атрибутом каждой вещи. Точно так же и сами предметы утратили лежавшую в их основе субстанцию и замыкавшую их форму, с помощью которой человек при­вязывал их к своему воображаемому облику; ныне между ними свободно играет пространство, становясь универсаль­ной функцией их взаимосвязей и «эффектов».

#### Освещение

Многие детали показательны для такого рода эволюции — например, тенденция скрывать источники света. «В усту­пе потолка по всему периметру комнаты располагаются нео­новые лампы, скрытно освещающие собой все простран­ство». «Однородный свет от ламп, скрытых в нескольких точках: на потолочной кромке вдоль занавесей, над шкафа­ми, под верхними стенными шкафами и т.д.» Источник света словно рассматривается как лишнее напоминание о том, откуда происходят вещи. Даже когда свет не падает с потол­ка на собравшееся за столом семейство, даже будучи рассе­янным, исходящим из многих точек, он все еще остается знаком особо укромной интимности, накладывает на вещи особую значимость, оттеняет их, очерчивает контуры их

26

присутствия. Понятно, что система, тяготеющая к исчис­лимости простых и однородных элементов, стремится уст­ранить даже малейшие признаки такого внутреннего свече­ния вещей, символически обволакивающихся взором или желанием.

#### Зеркала и портреты

Другой симптом — исчезновение больших и малых зер­кал. О Зеркале было так много метафизических рассужде­ний — пора бы написать и его психосоциологию. Традици­онная крестьянская обстановка не знает зеркал и даже, по­жалуй, опасается их: в них есть что-то колдовское. Напротив того, буржуазный интерьер, постольку поскольку он про­должает жить в современной серийной мебели, отличается множеством зеркал — на стенах, шкафах, сервировочных столиках, буфетах, панелях. Как и источник света, зеркало представляет собой особо отмеченное место в комнате: в богатом доме оно всякий раз играет идеологическую роль избытка, излишества, отсвета; в этом предмете выражается богатство, и в нем уважающий себя буржуазный хозяин об­ретает преимущественное право умножать свой образ и иг­рать со своей собственностью. В более общей форме можно сказать, что зеркало, как символический объект, не просто отражает черты индивида, но и в своем развитии сопровож­дает развитие индивидуального сознания как такового. Тем самым оно несет в себе залог целого общественного строя; не случайно век Людовика XIV воплощается в версальской Зеркальной галерее, а в более близкую к нам эпоху — от Наполеона III до стиля модерн — бурное распространение комнатных зеркал совпало с распространением торжеству­ющего фарисейства буржуазного сознания. Но с тех пор мно­гое переменилось. В функциональном гарнитуре более не практикуется отражение ради отражения. Зеркало остается лишь в ванной, без всякой рамы, обретая там свою прямую функцию. Получив себе точное назначение в заботе о вне­шности, которая требуется для социального общения, оно из­бавляется от изящных чар субъективно-домашней среды. А тем самым и остальные вещи освобождаются от него, им боль-

27

ше не грозит соблазн замкнуться в самолюбовании. Действи­тельно, зеркало придает пространству завершенность, позади него предполагается стена, а само оно отсылает вперед, к цен­тру помещения; чем больше в комнате зеркал, тем ярче сияет ее интимность, но одновременно и самозамкнутость. Нынеш­няя тенденция создавать как можно больше проемов и про­зрачных перегородок идет в прямо противоположном направ­лении. (К тому же создаваемые зеркалом оптические эффек­ты идут вразрез с современным требованием, чтобы каждый материал открыто заявлял о себе.) Оказался разорванным не­кий круг, и следует признать за современной обстановкой ре­альную логику: в ней последовательно устраняются как цен­тральные, слишком видные источники света, так и отражав­шие их зеркала, то есть одновременно и фокус излучения и возвратная отсылка к центру, — избавляя пространство от кон­вергентного страбизма, когда домашняя обстановка, как и все буржуазное сознание, вечно косилась сама на себя1.

Исчезла и еще одна вещь, составлявшая параллель зер­калу, — семейный портрет: свадебная фотография в супру­жеской спальне, ростовой или грудной портрет хозяина дома в гостиной, развешанные повсюду изображения детей. Все эти предметы, составлявшие как бы диахроническое зерка­ло семьи, исчезают вместе с настоящими зеркалами на из­вестной стадии современной цивилизации (пока еще отно­сительно мало распространившейся). Даже картина — ори­гинал или репродукция — находит себе место в таком интерьере уже не как абсолютная ценность, а как элемент некоторой комбинаторики. То, что в убранстве комнат над картиной стала преобладать гравюра, объясняется помимо прочего ее меньшей абсолютной значимостью, а стало быть большей значимостью ассоциативной. Подобно лампе или зеркалу, ни одна вещь не должна слишком интенсивно фокусировать в себе пространство.

1 В некоторых случаях зеркало вновь вступает в свои права, но уже во вторичной функции, как причудливый элемент культурного наследия, — например, зеркало «романтическое», «старинное», выпуклое. Назначение его уже совсем иное; оно будет анализироваться ниже, в ряду «старин­ных» вещей.

28

#### Часы и время

В современном интерьере рассеялся и еще один мираж

— мираж времени. Исчез такой важный предмет, как часы

— стенные или настольные. Вспомним, что в крестьянской комнате центром служит огонь в очаге, но и часы выступа­ют как элемент внушительный и живой. В интерьере бур­жуазном и мелкобуржуазном массивные стенные часы чаще всего уже превращаются в небольшие каминные, а над ними возвышается и зеркало, — все вместе любопытным образом создает краткую символическую формулу буржуазной до­машности. Действительно, часы играют ту же роль во вре­мени, что и зеркало в пространстве. Подобно тому как со­отнесенность вещи с ее зеркальным отражением делает про­странство замкнутым и как бы интроективным, так же и в часах парадоксально символизируются постоянство и интроективность времени. В крестьянских домах часы являют­ся одной из самых изысканных вещей: дело в том, что они улавливают в себя время, делают его уютно-предсказуемым предметом обстановки, играя роль сильнейшей психоло­гической поддержки. Измерение времени тревожит, по­скольку привязывает нас к социальным обязанностям, но и действует успокоительно, поскольку превращает время в субстанцию и разделяет его на порции, словно некий пред­мет потребления. Всякому приходилось чувствовать, как ти­канье больших или маленьких часов придает помещению уют, — причина в том, что при этом помещение уподобля­ется внутренности нашего собственного тела. Комнатные часы — это механическое сердце, заставляющее нас не бес­покоиться о нашем собственном сердце. Именно такой про­цесс проникновения времени в тело, телесное усвоение его субстанции, непосредственное переживание временной длительности, — как раз и отвергается (подобно всем про­чим центрам инволюции) в современной обстановке, по­строенной как нечто сугубо внешнее, пространственное и объективно-реляционное.

29

### НА ПУТИ К СОЦИОЛОГИИ РАССТАНОВКИ?

Исчез, таким образом, весь мир Stimmung'a1, «природ­ного» созвучия, в котором сливались мир души и присут­ствие вещей; исчезла интериоризированная атмосфера жилища (атмосфера современных «интерьеров» экстериоризи-рована). Сегодня жилище ценится не за его удобство и уют, а за его информативность, насыщенность изобретениями, контролируемость, постоянную открытость для сообщений, вносимых вещами; ценность сместилась в сторону синтаг­матической исчислимости, которая, собственно, и лежит в основе современного «жилищного» дискурса.

Действительно, изменилась вся концепция домашнего убранства. В ней более нет места традиционному вкусу, со­здававшему красоту через незримое согласие вещей. То был своего рода поэтический дискурс, где фигурировали замк­нутые в себе и перекликавшиеся между собой предметы; се­годня предметы уже не перекликаются, а сообщаются меж­ду собой; утратив обособленность своего присутствия, они в лучшем случае обладают связностью в рамках целого, в основе которой — их упрощенность как элементов кода и исчислимость их отношений. Через их неограниченную комбинаторику человек и осуществляет свой структуриру­ющий дискурс.

Такой новый тип обстановки повсеместно утверждается рекламой: «Оборудуйте себе удобную и рациональную квар­тиру на площади 30 метров!» «Умножьте свою квартиру на четыре!» Вообще, интерьер и обстановка трактуются рекла­мой в понятиях «задачи» и «решения». Именно в этом, а не во «вкусе», заключается ныне умение обставить свой дом — не в создании с помощью вещей театральной мизансцены или особой атмосферы, а в решении некоторой задачи, в на­хождении наиболее остроумного ответа в сложно перепле­тенных условиях, в мобилизации пространства.

На уровне серийных вещей возможности такого Функционального дискурса ограниченны. Вещи и предме­ты обстановки представляют собой рассеянные элементы,

1 Настроения *(нем.). — Прим. перев.*

30

для которых не найдено правил синтаксиса: если их рас­становка и обладает исчислимостью, то это исчислимость от нехватки, и вещи предстают здесь скудными в своей аб­страктности. Однако такая абстракция необходима: имен­но благодаря ей на уровне модели элементы функциональ­ной игры получают однородность. Человек прежде всего должен перестать вмешиваться в жизнь вещей, вчитывать в них свой образ, — и тогда, по ту сторону их практическо­го применения, он сумеет спроецировать в них свою игру, свой расчет, свой дискурс, а эту игру осмыслить как некое послание другим и себе самому. На такой стадии вещи, образующие «среду», совершенно меняют свой способ су­ществования, и *на смену социологии мебели приходит соци­ология расстановки*1.

Об этой эволюции свидетельствует реклама — как ее об­разы, так и дискурс. В дискурсе субъект непосредственно фигурирует как актер и манипулятор, в индикативе или им­перативе; напротив, в образах его присутствие опускается — действительно, в известном смысле оно было бы анах­роничным. Субъект есть порядок, который он вносит в вещи, и в этом порядке не должно быть ничего лишнего, так что человеку остается лишь исчезнуть с рекламной кар­тинки. Его роль играют окружающие его вещи. В доме он создает не убранство, а пространство, и если традицион­ная обстановка нормально включала в себя фигуру хозяи­на, которая яснее всего и коннотировалась всей обстанов­кой, то в «функциональном» пространстве для этой под­писи владельца уже нет места.

1 Такую новую фазу Ролан Барт описывает применительно к автомо­билю: «...Единообразие моделей приводит к тому, что сама идея техни­ческого превосходства едва ли не похоронена, так что фантазмы могуще­ства и изобретательности могут теперь прилагаться только к «нормаль­ной» езде. Фантазматическая сила автомобиля переносится на те или иные практические навыки. Коль скоро самое машину уже нельзя сделать сво­ими руками, то самодельным становится ее вождение... теперь нам наве­вают грезы уже не формы и функции автомобиля, а обращение с ним, и, возможно, скоро нам придется описывать уже не мифологию автомоби­ля, а мифологию его вождения» («Реалите», № 213, октябрь 1963 г.).

31

### ЧЕЛОВЕК РАССТАНОВКИ

Нам ясно теперь, какой новый тип обитателя дома выд­вигается в качестве модели: «человек расстановки» — это уже не собственник и даже не просто пользователь жили­ща, но активный устроитель его среды. Пространство дано ему как распределительная структура, и через контроль над пространством он держит в своих руках все варианты взаи­моотношений между вещами, а тем самым и все множество их возможных ролей. (Он, следовательно, и сам должен быть «функционален», однороден своему пространству — только тогда он может отправлять и принимать сообщения от своей обстановки.) Для него самое важное уже не владение и не пользование вещами, но ответственность — в том точном смысле, что он постоянно заботится о возможности давать и получать «ответы». Вся его деятельность экстериоризирована. Обитатель современного дома не «потребляет» свои вещи. (Здесь опять-таки нет места «вкусу» — двусмысленному сло­ву, подразумевающему замкнутые по форме и «съедобные» по субстанции предметы, предназначенные для внутреннего усвоения.) Он доминирует над ними, контролирует и упоря­дочивает их. Он обретает себя в манипулировании системой, поддерживая ее в тактическом равновесии.

Разумеется, в такой модели «функционального» домаш­него жильца есть доля абстракции. Реклама пытается убе­дить нас, что современный человек, по сути, больше уже не *нуждается* в вещах, а лишь оперирует ими как опыт­ный специалист по коммуникациям. Однако домашняя об­становка есть одно из проявлений переживания жизни, а потому большой абстракцией является приписывать ей мо­дели исчисления и информации, заимствованные из об­ласти чистой техники. К тому же такая чисто объективная игра сопровождается целым рядом двусмысленных выра­жений: «на ваш вкус», «по вашей мерке», «персонализа­ция», «эта обстановка станет вашей», и т.д., — которые по видимости противоречат ей, а фактически составляют ее алиби. Предлагаемая человеку расстановки игра с вещами всякий раз получает свое место в двойной игре рекламы.

32

Вместе с тем в самой логике этой игры содержится прооб­раз некой общей стратегии человеческих отношений, не­которого человеческого проекта, модуса вивенди новой технической эры — подлинного переворота во всей циви­лизации, отдельные проявления которого прослеживают­ся даже в повседневном быту.

В традиционном быту вещь переживалась и вплоть до на­ших дней изображалась во всем западном искусстве как скромный, пассивный фигурант, раб и наперсник челове­ческой души, отражая в себе целостный порядок, связан­ный с некоторой вполне определенной концепцией убран­ства и перспективы, субстанции и формы. Согласно этой концепции, форма предмета есть абсолютный рубеж между внутренним и внешним. Это неподвижный сосуд, внутри которого — субстанция. Таким образом, все вещи, и в част­ности предметы обстановки, помимо своих практических функций имеют еще и первичную воображаемую функцию «чаши»1. Этому соответствует их способность вбирать в себя душевный опыт человека. Тем самым они отражают в себе целое мировоззрение, где каждый человек понимается как «сосуд душевной жизни», а отношения между людьми — как соотношения, трансцендентные их субстанциям; сам дом становится символическим эквивалентом человеческого тела, чья мощная органическая система в дальнейшем обоб­щается в идеальной схеме его включения в структуры об­щества. Все вместе дает целостный образ жизни, чей глу­бинный строй — строй Природы, первозданной субстанции, откуда и вытекает всякая ценность. Создавая или изготав­ливая вещи, придавая им некоторую форму, которая есть культура, человек преобразует субстанции природы; перво­зданная схема творчества зиждется на возникновении од­них субстанций из других — от века к веку, от формы к фор-

1 Однако в этой символической структуре, судя по всему, действует как бы закон размера: любой, даже фаллический по своему назначению пред­мет (автомобиль, ракета), превысив некоторый максимальный размер, оказывается вместилищем, сосудом, маткой, а до некоторого минималь­ного размера относится к разряду предметов-пенисов (даже если это со­суд или статуэтка).

33

ме; это творчество ab utero1, со всей сопровождающей его поэтико-метафорической символикой2. Итак, поскольку смысл и ценность возникают из процесса взаимонаследо­вания субстанций под общей властью формы, то мир пере­живается как дар (по закону бессознательного и детской психики), который должно раскрыть и увековечить. Тем са­мым форма, ограничивающая собой предмет, все же сохра­няет в себе частицу природы, присущую человеческому телу; то есть всякая вещь в глубине своей антропоморфна. При этом человека связывает с окружающими его вещами такая же (при всех оговорках) органическая связь, что и с органа­ми его собственного тела, и в «собственности» на вещи все­гда виртуально присутствует тенденция вбирать в себя их субстанцию через поедание и «усвоение».

В современных же интерьерах намечается конец такого природного строя; через разрыв формы, через разрушение формальной перегородки между внутренним и внешним и всей связанной с нею сложной диалектики сути и видимос­ти возникает некоторое новое качество ответственного от­ношения к вещам. Жизненный проект технического обще­ства состоит в том, чтобы поставить под вопрос самую идею Генезиса, отменить любое происхождение вещей, любые из­начально данные смыслы и «сущности», еще и по сей день конкретно символизируемые мебелью наших предков; в том, чтобы сделать вещи практически исчислимыми и концеп­туализированными на основе их полной абстрактности, что­бы мыслить мир не как дар, а как изделие, как нечто доми­нируемое, манипулируемое, описываемое и контролируе­мое, одним словом *приобретенное*3*.*

1 Из материнской утробы *(лат.). — Прим. перев.*

2Его эквивалентом всегда было и интеллектуально-художественное производство, традиционно мыслившееся под знаком дара, вдохновения, гения.

3 Впрочем, такая модель человеческой деятельности с ясностью про­ступает лишь в сфере высокой технологии или же наиболее сложных бы­товых предметов — магнитофонов, автомашин, бытовой техники, где от­ношения господства и распределения наглядно выражаются в цифербла­тах, приборных досках, пультах управления и т.д. В остальном же повседневный быт все еще в значительной степени регулируется тради­ционным типом практики.

34

Этот современный строй вещей, принципиально отли­чаясь от традиционного строя вещей порожденных, также, однако, связан с некоторым фундаментальным символичес­ким строем. Если прежняя цивилизация, основанная на природном строе субстанций, соотносима со структурами оральной сексуальности, то в современном строе производ­ства и функциональности следует видеть строй фалличес­кий, основанный на попытках преодолеть и преобразовать данность, прорваться сквозь нее к объективным структурам, — но также и фекальный строй, который основан на поис­ках квинтэссенции, призванной оформить однородный ма­териал, на исчислимости и расчлененности материи, на сложной анальной агрессивности, сублимируемой в игре, дискурсе, упорядочении, классификации и дистрибуции.

Даже тогда, когда организация вещей предстает в техни­ческом проекте сугубо объективной, она все равно образует мощный пласт, в котором спроецированы и зарегистриро­ваны бессознательные импульсы. Лучшим подтверждени­ем этого может служить нередко проступающая сквозь орга­низационный проект (то есть, в нашем случае, сквозь волю к расстановке) обсессия: необходимо, чтобы все сообщалось между собой, чтобы все было функционально — никаких секретов, никаких тайн, все организовано, а значит все ясно. Это уже не традиционная навязчивая идея домашнего хо­зяйства — чтобы все вещи были на своем месте и в доме всю­ду было чисто. Та страсть носила моральный, современная же — функциональный характер. Она получает объяснение, если соотнести ее с функцией испражнения, для которой требуется абсолютная проводимость внутренних органов. Возможно, именно здесь глубинная основа характерологии технической цивилизации: если ипохондрия представляет собой обсессивную заботу об обращении субстанций в орга­низме и о функциональности его первичных органов, то современного кибернетического человека можно было бы охарактеризовать как умственного ипохондрика, одержимо­го идеей абсолютной проводимости сообщений.

35

## II. Структуры среды

Расстановка вещей, вбирающая в себя всю организаци­онную сторону домашней обстановки, не вполне, однако, исчерпывает собой систему современного интерьера, осно­ванную на оппозиции *расстановки* и *среды.* В рекламном дискурсе технический императив расстановки всегда сопро­вождается культурным дискурсом «среды». Оба они струк­турируют одну и ту же практику, это два аспекта одной и той же *функциональной* системы. И в том и в другом реализуют­ся смыслы игры и исчислимости: для расстановки это исчислимость функции, для «среды» — исчислимость красок, материалов, форм, пространства1.

### СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: КРАСКИ

#### Традиционная окраска

Краски традиционно наполняются морально-психологи­ческими смыслами. Человек любит тот или иной цвет, у него бывает свой цвет. Или же цвет диктуется внешними факто­рами — событием, церемонией, социальной ролью. Или же он составляет принадлежность определенного материала — дерева, кожи, полотна, бумаги. Но главное, краска ограни­чена формой, не ищет других красок, не обладает свободной сочетаемостью. Традиционно цвет предмета подчинен его внутреннему значению и замкнутости его контуров. Даже в таком свободном церемониале, как мода, цвет в немалой мере осмысляется не сам из себя — он служит метафорой опреде­ленных культурных значений. На наиболее же упрощенном уровне символика красок растворяется в психологии: крас­ный цвет — страстный, агрессивный, голубой — знак спо­койствия, желтый — оптимистический, и т.д.; краски имеют свой язык, так же как цветы, сны, знаки зодиака.

На этой традиционной стадии краска отрицается как та­ковая, не признается полноценной. К тому же в буржуаз-

1 Расстановка, как особая обработка пространства, и сама становится элементом «среды».

36

ном интерьере она чаше всего предстает в смягченной фор­ме «оттенков» и «нюансов». Серый, лиловый, гранатовый, бежевый — все эти оттенки приличествуют бархату, сукну и атласу, интерьеру с изобилием тканей, занавесей, ковров, драпировок, тяжелых субстанций и «стильных» форм; мо­раль такого интерьера предписывает отказываться и от крас­ки, и от пространства. Но прежде всего — от краски: она слишком зрелищна и грозит нарушить закрытость внутрен­него пространства. Мир красок противостоит миру смыс­лов, а буржуазный «шик» заключается именно в устранении видимостей в пользу сути1; поэтому черное, белое и серое составляют не только нулевую степень красочности, но так­же и парадигму социального достоинства, вытесненности желаний и морального «стэндинга».

#### «Природная» окраска

Отягощенная чувством вины, краска лишь очень поздно сумела отпраздновать свое избавление: автомобили и пишу­щие машинки на протяжении целых поколений оставались черными, холодильники и умывальники еще дольше оста­вались белыми. Освобождение цвета состоялось в живопи­си, но его воздействие отнюдь не сразу начало ощущаться в быту — в появлении ярко-красных кресел, небесно-голубых диванов, черных столов, многоцветных кухонных гарниту­ров, двух- или трехтонных гарнитуров для жилой комнаты, контрастной окраски стен, голубых или розовых фасадов, не говоря уже о лиловом и черном нижнем белье; такое ос­вобождение очевидным образом связано с общим разрывом старого порядка вещей. Кстати, состоялось оно одновремен­но с освобождением функциональной вещи — с появлени­ем полиморфных синтетических веществ и полифункцио­нальных нетрадиционных вещей. Но происходит оно не без проблем: открыто демонстрирующая себя краска воспри-

1 «Броские» краски «бросаются» нам в глаза. Наденьте красный кос­тюм — и вы окажетесь более чем голым, станете чистым объектом, ли­шенным внутренней жизни. Если женский костюм особенно тяготеет к ярким краскам, то это связано с объектным социальным статусом жен­щины.

37

нимается как нечто агрессивное, на уровне моделей (одеж­ды или мебели) она отрицается ради возврата к интимно-сдержанным полутонам. В красочности как бы есть что-то непристойное, и современная цивилизация, вознеся было ее до небес наряду с дроблением форм, теперь словно сама же страшится ее, равно как и чистой функциональности. Ни в чем не должен проявляться труд — и ни в чем не должен прорываться инстинкт; на уровне моделей такой компро­мисс отражается в возврате к «естественным» цветам в про­тивоположность их резкой «аффектации». Напротив, на уровне серийных изделий яркий цвет всегда переживается как знак эмансипации; фактически же им зачастую компен­сируется отсутствие других, более фундаментальных качеств — в частности, нехватка пространства. Происходит четкое разграничение: яркие, «вульгарные» краски, связанные с первичным уровнем функциональных вещей и синтетичес­ких материалов, преобладают в серийных интерьерах. Им свойственна поэтому та же двойственность, что и функци­ональной вещи: в обоих случаях то, что первоначально пред­ставлялось знамением свободы, становится знаком-ловуш­кой, в этом алиби нам дано увидеть свободу, которую не дано пережить.

Парадокс таких откровенно-«природных» красок еще и в том, что они вовсе не природны: они дают лишь несбы­точный посул природного состояния, и потому они столь агрессивны и наивны; потому же они столь быстро отступа­ют в такую цветовую гамму, где красочность хоть и не от­вергается по требованиям морали, но все же происходит пу­ританский компромисс с природой, — в *пастельность.* Мы живем в царстве пастели. Те краски, что царят вокруг нас — в одежде, автомобилях, оборудовании ванной, электробы­товой технике, пластмассовых изделиях, — это, собствен­но, не «откровенные» краски, раскрепощенные в живопи­си как сила жизни, а краски пастелизованные, которые же­лают быть яркими, но на деле лишь благонравно обозначают

собой яркость.

Но хотя в этих двух компромиссах — уходе в черно-белую и в пастельную гамму — выражается по сути одно и

38

то же отречение от яркой красочности, прямо выражающей психические влечения, оно происходит здесь в рамках двух различных систем. В первом случае систематизация осу­ществляется в парадигме черного/белого, имеющей четко моральный и антиприродный характер, во втором же слу­чае — в более широком регистре, основанном *уже не на антиприродности, а на естественности.* Функция этих двух систем также неодинакова. Черное (серое) еще и по сей день обладает значением изысканности, культурности, противо­стоя всей гамме вульгарных красок1. Белое же до сих пор в значительной мере преобладает в «органической» сфере. Из поколения в поколение все, что является непосредственным продолжением человеческого тела, — ванная комната, кух­ня, постельное и нательное белье — отдано на откуп белому цвету, хирургически-девственному, отсекающему от тела его опасную для него же самого интимность и скрадывающему его влечения. Соответственно в этой сфере, где действует императив чистоты и первичных телесных забот, более всего распространились и утвердились и синтетические материа­лы — легкий металл, резина, нейлон, пластифлекс, алюми­ний и т.д. Разумеется, здесь много значат легкость и практи­ческая эффективность этих материалов. Но такая легкость не просто облегчает работу, она также и освобождает весь этот первичный сектор от ценностных нагрузок. Упрощенно-об­текаемые формы наших холодильников и других аппаратов, их облегченные материалы (пластмасса или синтетика) зна­менуют собой, равно как и их «белизна», немаркированность присутствия этих предметов, глубокую исключенность из со­знания связанной с ними ответственности и психически ни­когда не нейтральных телесных функций. Мало-помалу кра­сочность проникает и сюда, но встречает сильное сопротив­ление. Да и то, если даже кухни станут делать синими или желтыми, а ванные — розовыми (или же черными — «сноби-

1 Однако многие серии автомобилей уже совсем не изготовляются в черной окраске; американская цивилизация практически не знает боль­ше черного цвета, за исключением траурных и официальных церемоний (или же он получает вторичное применение как один из цветов комбина­торики).

39

стский» черный цвет как реакция на «благонравный» белый), мы вправе задаться вопросом, к какой именно природе от­сылают эти краски. Даже когда они не переходят в пастельность, коннотируемая ими природа все-таки имеет опреде­ленную историю — это каникулярно-отпускная природа. Домашнюю среду преобразует не «настоящая» природа, а от­пускной быт — этот симулякр природы, изнанка быта буд­ничного, живущая не природой, а *Идеей Природы;* по отно­шению к первичной будничной среде отпуск выступает как модель и проецирует на нее свои краски. Собственно, тен­денция к яркой окраске, пластичности, сиюминутной прак­тичности вещей и т.д. изначально утвердилась именно в том эрзаце природной обстановки, что создается отпускным бы­том (домики-прицепы, палатки и прочие принадлежности) и переживается как модель и как область свободы. Сперва человек вынес свой дом на лоно Природы, а потом и к себе домой стал переносить смысловые элементы досуга и идею природы. Происходит как бы отток вещей в сферу досуга: как в их красках, так и в транзитивно-незначительном характере их материала и форм запечатлеваются свобода и безответ­ственность.

#### «Функциональная» окраска

Итак, резкое раскрепощение красок стало лишь крат­ким эпизодом; оно произошло главным образом в искусст­ве, в повседневном же быту оказалось, по сути, очень роб­ким (за исключением рекламно-коммерческой сферы, где в полной мере обыгрывается проститутивный характер крас­ки); освобожденная было красочность тут же вновь вклю­чается в рамки системы, *куда природа входит лишь как при­родность,* как коннотация природы, а под этим прикрыти­ем по-прежнему хитроумно отрицаются смыслы, связанные с инстинктами. В то же время в силу самой своей абстракт­ности такие «вольные» краски наконец освобождаются для игровых сочетаний, и именно к этой третьей стадии тяготе­ют краски нынешних вещей-моделей — к стадии, где ок­раска понимается как смысловой элемент «среды». Конеч­но, подобная игра «среды» предвосхищалась уже в красках

40

досуга, но они еще были слишком тесно привязаны к сис­теме непосредственных переживаний (с одной стороны, отпуск, с другой стороны — будни как нечто первичное), еще были скованы внешними условиями. В системе же «сре­ды» краски повинуются лишь своим собственным игровым законам, освобождаются от всяких оков морали или приро­ды и отвечают лишь одному императиву — императиву ис­числимости «среды».

Фактически мы уже имеем здесь дело не с цветами, а с более абстрактными величинами, такими как «тон», «то­нальность». В том, что касается окраски, настоящую про­блему «среды» составляют сочетание, подбор, контрасты то­нальностей. Синий цвет может ассоциироваться с зеленым (все цвета взаимосочетаемы), но не все тона синего — не со всеми тонами зеленого, и теперь речь уже не о синем или зеленом, а о *теплом или холодном.* Одновременно окраска перестает быть фактором, подчеркивающим ту или иную вещь и обособляющим ее в обшей обстановке; краски на­чинают восприниматься как противопоставленные друг дру­гу цветовые пятна, все менее значимые в своей чувствен­ной ощутимости, зачастую не связанные с той или иной формой, и «ритм» помещения создается различиями их тона. Подобно тому как мебель из корпусных блоков утрачивает свою специфическую функцию и в пределе оказывается зна­чимой лишь в силу своей переставляемости, так же и крас­ки утрачивают свою особенную значимость и начинают обя­зательно соотноситься друг с другом и со всем целым; это и имеют в виду, говоря, что они «функциональны».

«Каркас мягкой мебели окрашивается в тот же тон, что и сте­ны, тогда как тон ее обивки соответствует тону драпировок. Гармоничное сочетание холодных тонов, приглушенно-бело­го и голубого, но для контраста и некоторые теплые ноты, по­золота зеркальной рамы в стиле Людовика XVI, светлое дерево стола, паркет и ковер, обрамленные ярко-красным... Красный цвет ковров, кресел, диванных подушек создает как бы восхо­дящий поток, тогда как навстречу ему идет нисходящий поток голубых тонов (драпировки, диваны, кресла)». — Бетти Пепис, «Практический справочник декоратора», с. 163.

4I

«На нейтральном тускло-белом фоне потолка — крупные мас­сы голубого цвета. Такое бело-голубое сочетание повторяется и в обстановке комнаты: белый мраморный стол, перегород­ка-экран... Теплую ноту вносят ярко-красные дверцы низкого комода. По сути, перед нами здесь царство откровенных цве­тов, без мягких нюансированных тонов (вся смятенность со­средоточена в картине на стене слева), но они уравновешива­ются широкими зонами белого цвета» (с. 179) — и т.д.

«В небольшом тропическом зимнем саду пол из черного стек­ла с эмалью выполняет ритмическую и одновременно защит­ную функцию».

(Отметим, что черный и белый цвет уже не имеют здесь своей традиционной значимости, они вырываются из рамок оппозиции белого/черного, обретая новую тактическую зна­чимость в широкой многокрасочной гамме.) Рассмотрим еще такую рекомендацию:

«Краска выбирается в зависимости от величины стены, коли­чества дверей, старинного или же современного стиля мебели, европейских или же экзотических пород дерева, из которых она сделана, а также исходя из других конкретных обстоятельств...» (с. 191).

Мы видим, что на нашей третьей стадии окраска обре­тает объективное существование; строго говоря, она теперь представляет собой лишь одно более или менее сложное ус­ловие задачи в ряду других, один из составных элементов общего решения. Именно в этом, повторяем, ее «функцио­нальность», то есть абстрагированность и исчислимость.

#### Тепло и холод

В отношении красок «среда» основывается на исчис­лимом равновесии теплых и холодных тонов. Такова фун­даментальная значимая оппозиция. Наряду с нескольки­ми другими, такими как «корпусная/мягкая мебель»1, «рас­становка/среда», она придает высокую степень связности дискурсивной системе домашней обстановки, делая ее од-

1 См. ниже.

42

ной из ведущих категорий всеобъемлющей системы вещей. (Как мы увидим в дальнейшем, эта связность присуща ско­рее лишь внешнему, видимому дискурсу, под которым кро­ются противоречия другого, невидимого.) Что касается теплоты «теплых» тонов, то это не доверительная теплота ласковой интимности, не органическое тепло, исходящее из красок и субстанций, — то тепло обладало своей соб­ственной плотностью и не нуждалось в значимой оппози­ции с холодными тонами. Сегодня же в каждом декоратив­ном ансамбле должны перекликаться между собой, взаи­модействуя с его структурой и формой, теплые и холодные тона. «Теплые материалы придают уют этому безупречно обставленному кабинету»; «на матовых дверцах из промас­ленного бразильского палисандра выделяются хромиро­ванные металлические ручки... Кресла обтянуты дермати­ном табачного цвета, прекрасно сочетающимся со строгой теплотой всего гарнитура...» — читая это, мы видим, как теплу всюду противопоставляется нечто иное: строгость, организация, структурность, и каждый «эффект» возника­ет из их контраста. Функциональная «теплота» исходит не из теплой самой по себе субстанции и не из гармоничного сближения тех или иных объектов, она рождается из сис­тематического, абстрактно-синхронического чередования, где все время дано «тепло-и-холод», а «теплота» как тако­вая всегда лишь маячит в отдалении. Такое тепло только *обозначено* и именно поэтому никогда не реализуется. Ха­рактерная его черта — отсутствие всякого очага, источни­ка тепла.

## СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: МАТЕРИАЛЫ

#### Природное и культурное дерево

Подобный анализ работает и в отношении материалов — например, дерева, которое ныне столь ценится, связы­ваясь с сентиментально-ностальгическими мотивами (его субстанция вырастает из земли, оно живет, дышит, «рабо-

43

тает»). Оно обладает своей скрытой теплотой и не просто отражает ее подобно стеклу, но само горит изнутри. В его волокнах сберегается время, то есть это идеал хранилища, ибо все хранимое стараются уберечь от времени. У дерева есть запах, оно стареет, у него даже бывают свои паразиты, и т.д. Короче, этот материал — как бы живое существо. Та­ков знакомый каждому из нас образ «цельного дуба», вы­зывающий представление о череде поколений, о тяжело­весной мебели семейного дома. Но сохраняет ли сегодня свой прежний смысл «теплота» этого дерева, а равно и те­саного камня, натуральной кожи, сурового полотна, чекан­ной меди и т.д. — всех тех элементов материально-мате­ринских грез, которыми питается ностальгичность нынеш­них предметов роскоши?

В наши дни практически все органически-природные ма­териалы обрели себе функциональный эквивалент в виде пластических и полиморфных веществ1: так, универсальным заменителем шерсти, хлопка, шелка и льна стали нейлон или его бесчисленные разновидности. Дерево, камень, металл уступают место бетону, каучуку и полистирену. Бессмыслен­но отвергать такую эволюцию, предаваясь идеальным гре­зам о теплой, человечной субстанции былых вещей. Оппо­зиция натуральных/синтетических веществ, подобно оппо­зиции традиционных/ярких красок, есть всего лишь моральная оппозиция. Объективно все материалы существу­ют сами по себе — они не бывают подлинными или под­дельными, натуральными или искусственными. В чем, соб­ственно, «неподлинность» бетона по сравнению с камнем?

1 Тем самым реализуется, по крайней мере частично, субстанциалистский миф, который начиная с XVI столетия воплощался в лепных укра­шениях и в «светской» демиургии барокко, — целый мир пытаются выле­пить из одного готового материала. Такой субстанциалистский миф — один из аспектов мифа функционалистского, о котором еще будет речь в дальнейшем; в плане субстанции это эквивалент автоматизма в плане фун­кций; так некая сверхмашина могла бы заменить собой все жесты челове­ка, создав тем самым новую, синтетическую вселенную. Однако в мечте о «сверхсубстанции» сказывается наиболее примитивный и регрессивный аспект данного мифа — перед нами алхимия превращения субстанций, то есть фаза, предшествующая механической эпохе.

44

Старинные синтетические вещества, такие как бумага, пе­реживаются нами как вполне натуральные, а стекло — это вообще один из самых внутренне богатых материалов. Наследственное благородство материала существует факти­чески лишь в рамках особой культурной идеологии, соци­альный аналог которой составляет миф об аристократизме; да и то с течением времени такой культурный предрассудок может стираться.

Отвлекаясь от того, что новыми веществами открываются грандиозные практические перспективы, нам важно уяснить себе, в чем они изменили «смысл» материалов.

Подобно тому как в сфере красок переход к тональнос­тям (теплым, холодным или промежуточным) знаменует их освобождение от строя моральной символики и превраще­ние в абстракции, делающие возможными систематику и игру, так же и в сфере материалов синтетическое производ­ство знаменует собой их освобождение от природной сим­волики и переход к полиморфности, то есть к более высо­кой степени абстракции, где становится возможной всеобъ­емлющая ассоциативная игра веществ, а стало быть и преодоление формальной оппозиции веществ натуральных/ искусственных. Ныне уже не остается «природной» разни­цы между перегородкой из термостекла или дерева, между голым бетоном и кожей: выражая собой «тепло» или же «хо­лод», они в равной мере являются материалами — комби­наторными элементами. Разнородные сами по себе, они од­нородны как культурные знаки и могут образовывать связ­ную систему. Абстрактность делает их подвластными любым сочетаниям1.

1 Здесь пролегает принципиальное различие между традиционным «цельным дубом» и тиковым деревом: последнее в конечном счете выде­ляется не происхождением своим, экзотичностью или ценой, а лишь сво­ей применимостью для создания «среды», где оно оказывается уже не пер­вично-природной субстанцией, внутренне плотной и теплой, а *всего лишь культурным знаком этой теплоты,* и в качестве такого знака, наряду со многими другими «благородными» материалами, получает новую психи­ческую нагрузку в системе современного интерьера. Перед нами уже не дерево-вещество, а дерево-элемент, значимое не собственным «присут­ствием», а своим отношением к «среде».

45

#### Логика среды

Весь этот «дискурс среды» — язык красок, субстанций, объемов, пространства — охватывает и полностью перестра­ивает сразу все элементы системы. Из-за того что предметы обстановки сделались подвижными элементами в децент­рализованном пространстве, а структура их стала более лег­кой, сборно-фанерованной, то на них и древесина идет бо­лее «абстрактная», такая как тик, палисандр, красное или скандинавское дерево1. Причем окраска этих пород уже не совпадает с традиционным цветом дерева, но проявляется в более светлых или более темных вариантах, зачастую в со­четании с полировкой или лаком (или, наоборот, намерен­ной «необработанностью»); в любом случае и цвет и мате­риал оказываются абстрактными, и вся вещь становится предметом умственной манипуляции, как и все прочее. Тем самым современная домашняя обстановка целиком вклю­чается в знаковую систему *«среды»,* которая уже не опреде­ляется больше выделкой того или иного частного элемента — ни его красотой, ни его безобразием. Такое явление встре­чается уже в несвязно-субъективной системе красок и вку­сов, «о которых не спорят». В современной связной систе­ме удача той или иной обстановки определяется законами абстракции и ассоциации. Можно любить или не любить тиковое дерево, но следует признать, что существует сис­темная связь между этой породой и устройством мебели из корпусных блоков, между ее окраской и плоскими поверх­ностями, а значит и определенным «ритмом» пространства и т.д.; в этом-то и заключается закон системы. В подобную игру втягиваются и старинные вещи, и деревенская мебель «из цельного дерева», и ювелирные или ремесленные без­делушки, свидетельствуя тем самым о безграничных воз­можностях абстрактной интеграции. Их массовое распро-

1 Разумеется, эти породы технически лучше, чем дуб, поддаются фанеровке и сборке. Следует также сказать, что их экзотичность играет здесь ту же роль, что и идея отпускного быта в отношении ярких красок. — это миф о бегстве на природу. Но главный глубинный смысл всего этого со­стоит в том, что данные породы оказываются «вторичными», носителями культурной абстракции, а потому и послушными логике системы.

46

странение в наши дни отнюдь не противоречит системе1 : они безупречно включаются в нее в качестве элементов «сре­ды», наряду с ультрасовременными материалами и краска­ми. Только на традиционалистский и глубоко наивный вкус может показаться несообразной встреча на тиковом инкру­стированном комоде футуристического куба из необрабо­танного металла с шершавым деревом какой-нибудь стату­этки XVI века. *Просто сообразность, связность носит здесь не природный характер единого вкуса — это связность куль­турной системы знаков.* Даже «провансальский» интерьер, даже гостиный гарнитур из подлинной мебели времен Лю­довика XVI — все это лишь тщетные попытки вырваться за рамки современной культурной системы: и в том и в другом случае обстановка столь же далека от «стиля», который в ней заявлен, как и в случае какого-нибудь стола с каучуковым покрытием или же дерматинового кресла на вороненом кар­касе. Потолочная балка становится столь же абстрактной, как и хромированная труба или перегородка из «эмогласа». То, что ностальгическому вкусу кажется подлинной цель­ностью вещи, является на деле лишь комбинаторным вари­антом, — и это выражено в языке, который говорит в подоб­ном случае о деревенском «ансамбле» или же стиле. Термин «ансамбль», соотносительный с термином «среда», позво­ляет ввести любой возможный элемент в логику системы, какова бы ни была его субъективная нагрузка. Спору нет, такая система одновременно насыщается идеологическими коннотациями и скрытыми мотивациями - к этому мы еще вернемся. Несомненна, однако, необратимость и неограни­ченность ее логики — комбинаторной логики знаков. От нее не может укрыться ни одна вещь, подобно тому как ни один продукт не может укрыться от формальной логики товар­ного обмена.

1 Этим, правда, знаменуется известная слабость системы, которая, од­нако, сама интегрирована в систему. См. об этом ниже, в разделе «Ста­ринная вещь».

47

#### Материал-модель: стекло

Существует материал, целиком вбирающий в себя поня­тие «среды», в котором можно усматривать универсальную функцию современной домашней обстановки, — это стек­ло. Если верить рекламе, это «материал будущего», каковое, всем известно, будет «прозрачным»; таким образом, стекло — это одновременно и материал и чаемый идеал, и цель и средство. Такова его метафизика. Что же касается психоло­гии, то на практике и одновременно в воображении оно фун­кционирует как идеальная современная оболочка: ему «не передается вкус», оно не меняется со временем (как дерево или металл) под действием своего содержимого, не скрыва­ет его. В стекле нет никакой неясности и нет теплопровод­ности. По сути дела, оно не вмещает, а изолирует содержи­мое, это волшебная застывшая жидкость — содержащее-содержимое, и на таком волшебстве основывается прозрач­ность того и другого; а в преодолении субстанций заключа­ется, как мы видели, главный императив «среды». Кроме того, в стекле одновременно содержится символика мате­риала вторично-культурного и материала нулевой ступени. Символика замороженности, то есть абстракции, подводит нас к абстрактности внутреннего мира (хрустальный шар бе­зумия), к абстрактности будущего (хрустальный шар про­видца), к абстрактности природного мира (микроскоп и те­лескоп, с помощью которых наш глаз проникает в иные, от­личные миры). Кроме того, стекло неразрушимо, нетленно, не имеет цвета и запаха и т.д. — это поистине как бы нуле­вая ступень вещества; оно так же относится к веществу, как вакуум к воздуху. Такое достоинство игры и исчислимости, связанное с абстрактностью, уже встречалось нам в системе «среды». Но самое важное, что стекло в высшей степени воп­лощает в себе фундаментальную двойственность «среды» — одновременно близость и дистантность, интимность и от­каз от нее, сообщительность и несообщительность. В роли сосуда, окна или же стены стекло образует прозрачность без проницаемости: сквозь него видно, но нельзя прикоснуть­ся. Сообщаемость оказывается универсальной и абстракт-

48

ной. Магазинная витрина — это целая феерия фрустрации, в которой и заключена вся стратегия рекламы. Такова и про­зрачность стеклянных банок и бутылок — она создает фор­мальное удовольствие, визуальную близость, но по сути и отъединенность от заключенного внутри продукта. Стекло, точно так же как и «среда» в целом, являет лишь знак своего содержимого, вставая препятствием на пути к нему; так и вся система, в своей абстрактной связности, встает препят­ствием на пути от материальности вещей к материальности потребностей. Нечего говорить и о таком его важнейшем до­стоинстве морального порядка, как чистота, открытость, объективность, огромная насыщенность профилактико-гигиеническими коннотациями, — все это и впрямь делает его материалом будущего, такого будущего, где человек отре­чется от своего тела и его первичных органических функ­ций ради какой-то сияющей функциональной объектности, моральный аспект которой составляет гигиена тела. «Жить прямо в саду, в тесном общении с природой, в полной мере наслаждаясь прелестью каждого сезона и не отказываясь от ком­форта современного интерьера, — такая новейшая версия зем­ного рая бывает лишь в домах со стеклянными стенами».

«Стеклянные кирпичи и плитки, уложенные на бетон, позво­ляют строить прозрачные стены, перегородки, своды, перекры­тия, по прочности не уступающие камню. Такие «стеклостены» пропускают солнечный свет, и он свободно циркулирует по всему дому. В то же время сквозь них не видно четких фи­гур, и каждая комната остается интимно огражденной». Вековая символика «стеклянного дома» явно продолжа­ет жить, только в современной цивилизации становится не­сколько приземленной. *Обаяние трансцендентности усту­пает место обаянию «среды»* (то же самое произошло и с зер­калом). Стекло дает возможность ускорить сообщение между внутренним и внешним пространством, но одновре­менно и возводит между ними незримую материальную пе­регородку, не позволяющую этой сообщаемости превратить­ся в реальную открытость миру. Действительно, современ-

49

ные «стеклянные дома» вовсе не открыты во внешнее про­странство — напротив, сам внешний мир (природа, пейзаж) благодаря стеклу и его абстрактности просвечивает в интим­но-частном пространстве дома, «вольно играя» в нем как элемент «среды». Весь мир вводится в рамки домашнего мирка как зрелище1.

## ЧЕЛОВЕК ОТНОШЕНИЙ И СРЕДЫ

Анализ красок и материалов уже подводит нас к неко­торым выводам. Систематическим чередованием теплого и холодного, по сути, определяется само понятие «среды», в котором *всегда присутствуют одновременно тепло и дис­танция.*

Подобный интерьер призван создавать между людьми та­кое же чередование тепла-нетепла, интимности-дистантно­сти, как и между составляющими его предметами. Человек здесь обязательно должен находиться в некотором отноше-

1 Двойственный характер стекла с полной ясностью выступает, если от устройства дома обратиться к потребительским товарам и их упаковке, где его применение растет с каждым днем. Здесь у стекла также все досто­инства: оно защищает продукт от загрязнения, пропуская к нему лишь взгляд. «Надежно облекает и позволяет рассмотреть» — такова, можно сказать, идеальная дефиниция упаковки. Отливаясь в любые формы, стек­ло открывает неограниченные возможности для технической эстетики. Скоро в него станут «одевать» ранние овощи, чтобы они сохраняли под ним свежесть утренней росы. Своей прозрачностью оно станет облекать насущ­ный наш бифштекс. Невидимое и вездесущее, оно может соответствовать определению более красивой и более ясной жизни. Кроме того, как бы с ним ни поступали, оно никогда не станет мусором, так как не имеет запаха. Это «благородный» материал. И однако же, от потребителя требуют выбра­сывать его по употреблении — «упаковка не возвращается». Стекло укра­шает покупку обаянием своей нерушимости, но затем должно быть немед­ленно разрушено. Противоречие? Нет: стекло здесь опять-таки играет роль элемента «среды», только эта «среда» принимает точный экономический смысл упаковки. Стекло помогает продать продукт, оно функционально, но и само должно быть потреблено, и как можно скорее. Психологическая функциональность стекла (его прозрачность, чистота) полностью захваты­вается и поглощается его экономической функциональностью. Его вели­колепие работает как мотивация покупки.

50

нии — друга или родственника, члена семьи или клиента, — но отношение это должно оставаться подвижно-функци­ональным; то есть быть в любой момент возможным, но субъективно нефиксированным, разные типы отношений должны обладать свободой взаимного обмена. Именно та­ковы функциональные отношения, в которых отсутствует (теоретически) желание, — его потенциал разряжается в пользу «среды»1. Здесь-то и начинается двойственность2.

#### Мягкая мебель

*О* такой двойственности свидетельствуют предметы, луч­ше всего выражающие собой отношения «среды», — мягкая мебель, которая, как мы видели, в системе современной об­становки постоянно чередуется с корпусными блоками. Эти два члена в своей противопоставленности конкретизируют главную оппозицию расстановки и «среды» (хотя и не явля­ются ее единственным проявлением).

Усаживать людей — это явно не главная функция тех бесчисленных кресел и стульев, которые заполняют собой журналы по меблировке и декорации. Мы садимся, чтобы отдохнуть, садимся за стол, чтобы поесть. Но стулья уже больше не тяготеют к столу. Современная мягкая мебель обретает свой самостоятельный смысл, а уже ему подчи­няются низкие столики; и смысл этот связан не с положе­нием тела, а со взаимным размещением собеседников. Рас­становка кресел и стульев и сложная пересадка — напри­мер, гостей во время приема — сама по себе уже образует целый дискурс. Все современные сиденья, от пуфа до ка­напе, от банкетки до глубокого кресла, делают акцент на общительности, на участии в беседе; в сидячей позе как

1 Такому типу отношений подчиняется даже сексуальность в ее совре­менном понимании: в отличие от жарко-инстинктивной чувственности, она бывает теплой или холодной. В результате она оказывается уже не стра­стью, а просто-напросто элементом жизненной «среды». И по той же при­чине она уже не теряется в излияниях, но становится дискурсом.

2 В системе вещей, как и во всякой переживаемой системе, главные структурные оппозиции на самом деле всегда другие: что на уровне сис­темы является структурной оппозицией, реально может лишь рациона­лизировать, делать связным некоторый конфликт.

51

бы подчеркивается не конфронтация, а широкая откры­тость современного социального индивида. Нет больше кроватей, на которых лежат, нет больше стульев, на кото­рых сидят1, есть лишь «функциональные» сиденья, вольно синтезирующие всевозможные позы (а тем самым и все­возможные отношения между людьми). В них исключает­ся всякий морализм: вы больше не сидите лицом ни к кому. Сидя на таком сиденье, невозможно сердиться, спорить, убеждать кого-либо. Ими предопределяется гибко-нетре­бовательная общительность, с широкой, но лишь игровой открытостью. Сидя в таком кресле, вам уже не приходится выдерживать чужой взгляд или самому всматриваться в другого человека: они устроены так, что взгляд может, не стесняясь, свободно блуждать по лицам, так как из-за их глубины и угла наклона он «естественно» оказывается где-то на среднем уровне, на некоей неопределенной высоте, где произносятся также и слова. По-видимому, фундамен­тальная забота, которой отвечают такие кресла, состоит в том, чтобы никогда не оставаться одному, но и не оказы­ваться ни с кем лицом к лицу. В них расслабляется тело, но еще более того отдыхает взгляд — самое опасное, что есть в теле. В современном обществе, где люди в значительной мере избавлены от тесного соприкосновения друг с дру­гом в своих первичных функциях, подчеркивается зато та­кое соприкосновение в функциях вторичных, соприкос­новение взглядов и все, что в них есть трагического. И подобно тому как первичные требования жизни скрады­ваются, из нашего общения всячески исключается любая резкость, противоречивость, то есть в сущности неприс­тойность, которая может содержаться в прямом взгляде, где агрессивно проступает желание. Итак, в двучлене кор­пусная/мягкая мебель нам явлена система во всей своей полноте: через посредство корпусных блоков современный человек осуществляет свой организационный дискурс, из

1 Стулья с прямой спинкой сохраняются лишь у обеденного стола, кон­нотируя при этом «деревенскость»; но это уже рефлективный культурный процесс.

52

глубины своих кресел он изрекает дискурс реляционный1. Таким образом, «человек перестановки» всякий раз дубли­руется «человеком отношений и среды» — а все вместе это создает «функционального» человека.

#### Окультуренность и цензура

Не только к креслам, но и ко всем предметам обстанов­ки ныне предъявляется обязательное требование культур­ности, равно как и комбинаторной исчислимости. В былые времена мебель не скрывала своих функций. Фундаменталь­ная роль дома-кормильца прочитывалась без обиняков в его столах и буфетах — тяжеловесно-пузатых, несущих на себе дополнительные значения материнства. Если их функция была табуирована, то они вообще скрывались, как, напри­мер, кровать в алькове. Если же кровать ставилась посере­дине спальни, то она наглядно демонстрировала собой бур­жуазное супружество (но, разумеется, не сексуальность). Ныне кровати больше нет — она превратилась в кресло, диван, канапе, банкетку или же утапливается в стене (в силу

1 Или же просто пассивный: не будем забывать, что в мебельной рек­ламе активный императив расстановки гораздо слабее, чем пассивные вну­шения расслабленности. Домашняя «среда» и здесь двойственна — это понятие вместе и активное и пассивное. Функциональный человек — из­начально утомленный. И миллионы кресел из кожи или же «данлопилло», одно другого глубже, через посредство которых современные поня­тия «среды» и релаксации проникают на страницы дорогих журналов, как бы приглашают его от имени всей цивилизации будущего расслабиться от всяческих напряжений и погрузиться в безмятежную эйфорию седьмого дня. Вся идеология такой цивилизации, отдаленно, но неминуемо знаме­нуемой вещами-моделями, заключается в подобных образах — не менее идилличных, чем старинные пасторали, — где обитатель современного жилища созерцает окружающую его «среду», сидя в глубоком и мягком кресле. Разрядив свои страсти, функции, противоречия и оставив одни лишь отношения — систему отношений, структура которой явлена ему в системе вещей, — «сотворив» вокруг себя целое пространство, допускаю­щее многообразные возможности интеграции элементов в ансамбль ком­наты и интеграции человека в социальное единство, воссоздав тем самым целый мир, избавленный от предосудительных влечений и первичных фун­кций, но зато наполненный социальными коннотациями комбинаторики и престижа, наш современный домовладелец, утомившись от всех этих усилий, благостно скучает в кресле, сочетающемся с формами его тела.

53

не морального запрета, а логической абстракции)1. Стол ста­новится низким, отступает из центра комнаты, теряет свою тяжеловесность. Кухня в целом утрачивает свою кулинар­ную функцию и превращается в функциональную лабора­торию. И это — прогресс, так как традиционная обстановка при всей прямоте своих смыслов зиждилась в то же время на обсессивной моральности и на материальной трудности быта. В современных интерьерах мы свободнее. Но это со­провождается новым, более тонким формализмом и новы­ми моральными ограничениями: во всех предметах выра­жается закономерный переход от еды, сна, продолжения рода к таким занятиям, как курение, питье, прием гостей, беседа, смотрение телевизора или чтение. Первично-теле­сные функции отступают на второй план перед функциями окультуренными. В традиционном буфете хранилось белье, посуда, продукты, в функциональных же блоках — книги, безделушки, бутылки или даже просто пустота. Такое тре­бование культуры с полной ясностью резюмируется в поня­тии «утонченности», которое наряду с «функциональнос­тью» служит одним из ударных терминов в руководствах по домашнему обустройству. Вместо символов семьи комнаты наполняются знаками социальных отношений. Они служат обстановкой уже не для торжества родственной любви, а для столь же ритуального гостеприимства. Вчитываясь в совре­менные вещи и предметы обстановки, замечаешь, что они уже прекрасно беседуют между собой, не дожидаясь прихо­да гостей, свободно сходятся и расходятся не хуже них, — то есть, чтобы жить, нет необходимости трудиться.

Разумеется, культура всегда играла такую умиротворяю­щую идеологическую роль — сублимировала напряжения, связанные с господством функций, способствовала само­оформлению и самоосознанию человека по ту сторону ма­териальной действительности и конфликтов реального мира. Подобная оформленность, которая наперекор и

1 Впрочем, она может и вторично включаться в современный интерьер, и культурная коннотация ее при этом столь сильна, что делает ее не столь непристойной; например, старинная испанская кровать XVIII века посреди комнаты. (Об этом см. ниже, в разделе «Старинная вещь».)

54

вопреки всему свидетельствует о некоторой конечной цели и несет в себе живую память о кашей первичной обо­лочке, очевидно, еще более настоятельно необходима в технической цивилизации. Но только сегодня сама фор­ма тоже систематизируется, подобно реальности, кото­рую она отражает и одновременно отрицает: системной техничности соответствует системная культурность. *Именно такую системную культурность на уровне вещей мы и называем «средой».*

## СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: ЖЕСТУАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ

Продолжая наш анализ смысловых элементов «среды», мы приступаем теперь к изучению «функциональных» (или, что тоже самое, «профилированных», «динамичных» и т.д.) форм; как сразу же выясняется, их «стилизация» та же самая, что и в связанных с ними человеческих жестах. В ней всякий раз обозначается устранение труда и мускульной энергии. Устра­няются первичные функции ради вторичных — функций от­ношения и исчисления, устраняются влечения ради окульту­ренности, и в исторической практике все эти процессы опосредуются на уровне вещей принципиальным исключением жестов усилия, переходом *от универсальной жестуальности труда к универсальной жестуальности контроля.* Именно здесь — в абстрагировании вещей от источников энергии — прихо­дит конец их тысячелетнему антропоморфному статусу.

#### Традиционная жестуальность усилия

Пока наполняющая предмет энергия остается мускульной, то есть непосредственной и случайно-внешней, орудие все еще вовлечено в отношения в человеком, символически насыщен­ные, но не очень структурно связные, хоть и формализован­ные в определенной жестуальности. Использование силы жи­вотных не производит качественной перемены — для многих цивилизаций энергия человека и энергия животных равно­значны. Такая энергетическая стабильность влечет за собой и стагнацию орудий труда. Статус орудия, приспособления для

55

ручной работы почти не меняется на протяжении веков. При­чем такая глубинная соотнесенность человека с вещами через жесты, резюмирующая собой его интегрированность в мире и в социальных структурах, может обладать высокой степенью полноты, которую мы обнаруживаем в их обоюдной красоте, в их «стиле». Тем не менее эта соотнесенность действует сковывающе и параллельно со сковывающим воздействием со­циальных структур мешает настоящей производительности. Старинные орудия — сложные комплексы жестов и сил, сим­волов и функций, оформляемых и стилизуемых энергией че­ловека; мы любуемся этими косами, корзинами, кувшинами и плугами, плотно прилегающими к формам человеческого тела, его усилий и преображаемого материала; но при всем сво­ем великолепии такая соотнесенность зиждется на единооб­разии, оставаясь реляционно скованной. Человек не свободен от своих вещей, вещи не свободны от человека. Только после революционных перемен в источниках энергии, когда энер­гию, ставшую мобильной, стало возможно применять на рас­стоянии, запасать и исчислять, — человек и вещь вступают в новый объективный спор, в новую конфликтную диалектику, которая не содержалась в их взаимной целесообразности и ско­вывающей взаимосоотнесенности. Тем самым человек прихо­дит к объективной социальной эволюции, и одновременно сама вещь приближается к собственной истинной сути, то есть к приумножению функций через раскрепощение энергии.

Функциональная вещь — это вещь реальная. В результате революционных перемен в энергетике на место энергетичес­кого симбиоза и символической согласованности человека с вещами приходит связность технологии и связность (относи­тельная) строя производства. Одновременно отношения че­ловека с вещами включаются в новую диалектику — диалек­тику производительных сил. Нас здесь, однако, интересуют по­следствия этого переворота в сфере повседневного быта.

#### Функциональная жестуальность контроля

В своем практическом опыте мы ощущаем, как истон­чается жестуальная опосредованность человека и вещей. В бытовой технике, автомобилях, «гаджетах», системах

56

отопления, освещения, информации, транспорта от че­ловека требуется лишь минимум вмешательства, минимум затрат энергии. Зачастую он должен лишь контролиро­вать их рукой или глазами; ему никогда не бывает нужна ловкость — самое большее быстрота реакции. Мир быта, почти в такой же степени как и мир труда, регулируется ныне систематическими жестами команд или же телеко­манд. Перед нами — просто кнопка, тумблер, рукоятка, педаль, порой даже и вовсе ничего (в кабину фотоавто­мата достаточно просто войти); тогда как прежде надо было что-то давить, дробить, заколачивать, поддерживать равновесие, соизмерять и распределять усилия, делать размашистые движения (теперь они должны быть скорее проворными). На место схватывания вещей, в котором участвовало все тело, приходит контакт (рукой или но­гой) и контроль (зрительный, иногда слуховой). Одним словом, в функциональном быту активно задействованы одни лишь «конечности» человека.

Итак, раскрепощающая абстрактность источников энер­гии выливается в такую же абстрактность практических дей­ствий человека с вещами. Требуется уже не столько нейро-мускульная деятельность, сколько система церебросенсорного слежения (Навиль). Однако же не только она одна: чтобы смягчить абсолютную абстрактность дистанционно­го действия, остается еще то, что мы назвали жестуальностью контроля (ручного, зрительного и т.д.)1. В известном смысле такой минимум жестуальности необходим, без нее вся наша абстракция могущества лишилась бы смысла. Мо-

1 Точнее будет сказать, что жестуальность усилия не просто истончи­лась до жестуальности контроля — она распалась на жестуальность конт­роля и жестуальность игры. Забытое в современной практике и вместе с тем освобожденное от своих оков, тело находит реальную возможность самовыражения — во всяком случае, компенсаторного расхода энергии — в спорте и других физических упражнениях на досуге. (Действительно, еще неизвестно, утверждается ли в таком раздвоении жестуальности уси­лий реальная свобода тела или же просто создается двучленная система, где второй член — в данном случае игра и спорт — служит именно ком­пенсацией первого. Аналогичный процесс — раздвоение времени на ак­тивное время и время досуга.)

57

гущество человека должно обеспечиваться его хотя бы фор­мальным участием. В таком смысле можно утверждать, что жестуальность контроля сохраняет важнейшую роль в нор­мальном функционировании уже не техники (техника бу­дущего могла бы обойтись и без нее — и скорее всего дей­ствительно обойдется), но системы нашего сознания.

#### Новое оперативное поле

Поскольку энергия вещей стала абстрактной, их функци­ональность становится безграничной: как чуть ли не все ма­териалы обзавелись пластмассовыми заменителями, так и все жесты обрели себе технические эквиваленты. Простейший механизм эллиптически замещает собой целую сумму жес­тов, концентрирует в себе их эффективность и становится не­зависимым от оператора и от обрабатываемого материала. Меняются все факторы — форма и применение орудий, ма­териал, рабочая энергия. Материал бесконечно дифферен­цируется, порой оказываясь чем-то неуловимым (для радио­приемника это информация). Энергия, преобразуясь сама, преобразовывает и материалы и функции: теперь техника уже не просто вбирает в себя ранее известные жесты, но и изоб­ретает новые операции, а главное — разбивает оперативное поле на совершенно новые функции и группы функций. Та­ким образом, абстрагированность человека перед лицом сво­их вещей (технических), его «очевидная отчужденность» про­исходит не столько от того, что его жесты *заменяются* маши­нами, сколько от абстрактности *самого разделения* функций и от невозможности интуитивно уловить это разделение по аналогии с прежней системой жестов1. К новым техничес-

1 Возьмем для примера огонь. Очаг как источник огня первоначально соеди­нял в себе три функции — отопления, приготовления пищи и освещения. Имен­но в таком качестве он и наполнился своей сложной символикой. Позднее фун­кции отопления и приготовления пиши соединила в себе кухонная плита — уже техническое устройство, но еще обладающее известным символическим «присутствием». Далее все эти функции аналитически разделяются, расхо­дятся по специализированным устройствам, синтезом которых является уже не конкретный «очаг», а питающая их абстрактная энергия (газ или электри­чество). Символическое измерение такой новой «среды», основанной на принципиально ином разделении функций, равно нулю.

58

ким структурам способно адаптироваться только абстракт­ное, а не непосредственное мышление; при этом человек дол­жен привыкать все более и более исключительно пользоваться одними лишь высшими исчислительными функциями свое­го ума. Это вызывает глубокое психологическое сопротивле­ние, и в результате человек окончательно отстает от своих ве­щей, уступает им в связности. Вещи как бы идут впереди него в организации его среды, а тем самым влекут за собой и те или иные его поступки. Возьмем стиральную машину: своей формой и способом действия она не связана непосредствен­но с бельем, то есть вся операция стирки утратила свою про­странственно-временную специфичность. Человеческое вме­шательство минимально, весь процесс рассчитан по мину­там, и даже сама вода выступает лишь как абстрактный проводник химических моющих средств. Таким образом, функционально стиральная машина вступает в совсем иное поле отношений, нежели старинная стиральная доска или ло­хань; наряду с другими вещами-операторами, такими как хо­лодильник, телевизор, расстановочные блоки мебели и автомобиль, она размешается в дискретном поле функцио­нальной ассоциации, тогда как традиционные орудия распо­лагались в поле практического опосредования между преоб­разуемым материалом и преобразующим его человеком. Вме­сто вертикального поля, ориентированного вглубь, мы попадаем в поле горизонтальное, развернутое вширь.

Подобно тому как структурируются различные части механизма той или иной вещи — аналогичным образом самоорганизуются, независимо от человека, и различные тех­нические предметы, отсылая друг к другу в своем упрощенно-единообразном применении и образуя тем самым строго рас­члененный строй вещей, идущий по пути своей собственной технологической эволюции, где ответственность человека ог­раничена лишь осуществлением механического контроля, да и тот в предельном случае должна взять на себя сама машина.

#### Миниатюризация

Вместо сплошного, но ограниченного *пространства,* ко­торое создается вокруг традиционных вещей жестами приме-

59

няющего их человека, технические предметы образуют диск­ретную и неограниченную *протяженность.* Эта новая протя­женность, новое функциональное измерение регулируется тре­бованием максимальной организации, оптимальной сообщаемости частей. Этим и объясняется наблюдаемая нами в ходе технического прогресса все большая миниатюризация изде­лий. Освобожденные от соотнесенности с человеком, от сво­ей, так сказать, «естественной величины», предназначенные для работы со все более сложными сообщениями, механиз­мы, следуя примеру человеческого мозга, идут по пути все боль­шей концентрации структур, к квинтэссенции микрокосма1. После периода прометеевской экспансии, когда техника стре­милась заполнить собой все пространство мира, мы вступаем в эру новой техники, внедряющейся в глубь мира. Электрони­ка и кибернетика — то есть действенность, вышедшая за рам­ки жестуального пространства, — позволяют ныне достигать сверхплотной насыщенности на минимуме протяженности, которой соответствует максимум регулируемого поля и кото­рая несоразмерна нашему чувственному опыту2.

1 Отсюда магическое обаяние, которым обладает миниатюрный пред­мет — часы, транзистор, фотоаппарат и т.д.

2Такая тенденция к миниатюризации может показаться парадоксаль­ной в цивилизации протяженности, экспансии, пространственного рас­ширения. На деле же здесь сказывается одновременно и идеальный пре­дел такой технической цивилизации, и ее противоречивость — ибо она является также и цивилизацией скученных городов и дефицита простран­ства и, в силу непреложной бытовой (а не только структурной) необходи­мости, все больше и больше становится цивилизацией «компактности». Имеется несомненное соотношение между лазером, микрокалькулятором и вообще всякой микротехникой, с одной стороны, и маленьким автомо­билем, многофункциональным «гаджетом», «экономичной» квартирой и транзистором, с другой; правда, это соотношение не обязательно имеет логическую структуру. Принцип максимальной организации, ведущий к приемам миниатюризации, имеет своей параллельной функцией служить паллиативом (но не разрешением) для проблемы хронического дефицита пространства в повседневной жизни. Структурно одно с другим не связа­но, они лишь вытекают одно из другого в рамках общей системы. В ре­зультате предмет бытовой техники, зажатый между этими двумя импера­тивами, сам не знает, которым из них он обусловлен — то ли техническим прогрессом (миниатюризация), то ли деградацией системы социальной практики (дефицит пространства). Антагонизм между структурно-техни­ческой эволюцией и дефицитными ограничениями в системе повседнев­ного быта рассматривается нами в другом месте — в «Аватарах техники».

60

## СТИЛИЗАЦИЯ -СПОДРУЧНОСТЬ - УПАКОВКА

Такой все возрастающей автономности функциональ­ного мира и оптимальной организации протяженности всецело соответствует и стилизация форм. Формы тоже становятся автономнее, все дальше отходя от морфоло­гии человеческого тела и усилия, — хотя они всегда так или иначе на них намекают. Они свободно самооргани­зуются, а их утраченная было соотнесенность с первич­ными функциями всякий раз сохраняется в абстрактной форме знака — это их коннотация. Рассмотрим руку — мы уже видели, сколь велико ее значение в жестуальности контроля. Все современные вещи стремятся обязатель­но быть «сподручными» (это почти что эквивалент их «функциональности»). Но что же это за рука, в зависимо­сти от которой обрисовываются их формы? Это уже не хватательный орган, где окончательно реализует себя уси­лие, теперь это всего лишь абстрактный знак сподручности, и таким достоинством тем легче обладают кнопки, рукоятки и т.п., что сама операция как таковая больше не требует ручного труда и осуществляется в другом месте. Перед нами вновь, на уровне морфологии, тот самый миф о природности, о котором уже говорилось выше; челове­ческое тело теперь наделяет вещи лишь знаками своего присутствия, а в остальном они функционируют автоном­но. Представителями тела служат «конечности». А вещи, со своей стороны, «профилируются» в зависимости от это­го абстрактно-морфологического значения. Складывается система взаимной согласованности форм, где человек упоминается лишь намеком1. Именно так форма вещи «сочетается» с рукой. Именно так кресло «Эрборн» «со­четается» с формами вашего тела — одна форма сочетает­ся с другой. Традиционная вещь-орудие вовсе не «соче­талась» с формами человека — она сочеталась с формами усилия и жеста, да и вообще человеческое тело диктовало

1 Точнотак же в домашней «среде» остается лишь намек на природу.

61

свою волю вещам ввиду того или иного материального труда. Ныне тело человека сохраняется лишь как абстрак­тная причина завершенных форм функциональной вещи. *Итак, функциональность вещи — это не запечатленностъ в ней какого-то реального труда, а приспособленность одной формы к другой* (формы рукоятки — к форме руки), *в кото-рои устраняются, опускаются реальные трудовые процессы.* Освободившись таким образом от практических фун­кций и от человеческой жестуальности, формы начина­ют соотноситься друг с другом и с пространством, где они создают «ритм». Именно так понимается сегодня «стиль» вещей: его механизм остается виртуально-подразумевае­мым (потенциально на него намекают кое-какие нехит­рые жесты, но не обнаруживая его, — действенное тело вещи по-прежнему остается неосознанным), и налицо одна лишь форма, окутывающая его своим совершен­ством, «облекающая» и скрадывающая своей «линией» не­кую абстрактно-кристаллизованную энергию. Как при развитии некоторых видов животных, вещь обрастает формой, словно панцирем. Подвижная, транзитивная, об­лекающая, она сглаживает внешний облик вещи, превоз­могая тревожно-дискретное многообразие механизмов связностью некоего целого. В такой функциональной сре­де замкнутостью непрерывных линий (а также и матери­алов — хрома, эмали, пластика) восстанавливается един­ство мира, который прежде поддерживался в глубинном равновесии благодаря человеческому жесту. Мы идем, ста­ло быть, к абсолютной власти формы — только она ока­зывается нужной, только она осознается, и на глубинном уровне «стиль» вещей определяется функциональностью форм.

#### Конец символического измерения

В такой завершенности форм на самом деле кроется один существенный недостаток: универсальной транзи­тивностью форм наша техническая цивилизация пытает­ся компенсировать исчезновение символических отноше­ний, связанных с традиционной трудовой жестуальнос-

62

тью, компенсировать ирреальность, символическую пус­тоту нашей технической мощи1.

Действительно, жестуальное опосредование обладает не только практическим измерением, и энергия, вложенная в трудовое усилие, имеет природу не только мышечно-нервную. В жесте и усилии развертывается богатая фалличес­кая символика, выраженная в схемах проникновения, со­противления, оформления, трения и т.д. Моделью всех рит­мических жестов служит ритмика сексуальная, и всякая технологическая практика в конечном счете определяется именно ею (отсылаем к исследованиям Г.Башляра и Ж.Дюрана — «Антропологические структуры воображаемого», с. 46 и др.). Традиционные вещи и орудия, мобилизуя все наше тело для усилия и его завершения, отчасти вбирают в себя глубинное либидинозное содержание сексуального обмена (как это по-своему происходит и в танце и обрядах)2. В тех­ническом же предмете все это подавляется и демобилизует­ся. То, что в трудовой жестуальности сублимировалось (а значит, символически реализовывалось), сегодня просто вы­тесняется. В современных технических системах ничего не осталось от анархично-зрелищного самопроизрастания ста­ринных вещей, которые могли стареть, которые наглядно демонстрировали свою работу. Заступ или кувшин, эти жи-

1 Речь не о том, чтобы поэтизировать жестуальность традиционных тру­довых усилий; действительно, ведь на протяжении долгих веков человек собственной силой возмещал несовершенство своих орудий, ведь даже после эпохи рабства и крепостничества в руках у крестьян и ремесленников по-прежнему оставались орудия, прямо восходящие к каменному веку; так что можно лишь приветствовать нынешнюю абстрактность источников энер­гии и отказ от старой жестуальности, которая по сути была лишь жестуальностью рабства. Нынешняя «бездушная автоматика» (хотя бы даже в элект­рической машинке для приготовления овощных пюре) наконец-то позво­ляет выйти за пределы строгой эквивалентности продукта жесту, изо дня в день поглощавшей человеческие силы, и создать добавочный по отноше­нию к жесту продукт. Однако не менее глубокие последствия это влечет за собой и в ином плане.

2Можно также сказать, что через жестуальность вещи вбирают в себя, по выражению Пиаже, «аффективные схемы» отцовства и материнства, то есть отношения ребенка к людям, составляющим его первичную среду: отец и мать сами по себе предстают ребенку как некие орудия, окружен­ные орудиями вторичными.

63

вые воплощения мужского и женского полового органа, сво­ей «непристойностью» делают символически внятной ди­намику человеческих влечений1. Непристойна и вся трудо­вая жестуальность, которая ныне миниатюризирована и аб­страгирована в жестуальности контроля. Мир старинных вещей предстает театром жестокости и инстинктивных вле­чений, если сравнить его с нейтральностью форм, профи­лактической «белизной» и совершенством вещей функцио­нальных. В современном утюге ручка исчезает, «профили­руется» (характерен сам этот термин, выражающий тонкость и абстрактность), все более нацеливается на полное отсут­ствие жеста, и в пределе такая форма оказывается уже не формой руки, а просто формой «сподручности». *Становясь совершенной, форма отводит человеку роль стороннего созер­цателя собственного могущества.*

#### Абстракция могущества

Но подобное техническое могущество больше не может опосредоваться — оно несоразмерно человеку и его телу. А значит, оно не может более и выражаться *в символах —* фун­кциональные формы способны лишь *коннотировать* его. Они выражают его как дополнительное значение своей аб­солютной связности (обтекаемости, «сподручности», авто­матизма и т.д.), но одновременно в них оформляется и от­деляющий нас от него вакуум, они образуют как бы новей­ший шаманский ритуал. Это знаки нашего могущества, но вместе с тем и свидетельства нашей безответственности по отношению к нему. Быть может, именно здесь следует ис­кать причину того, что после первой технической эйфории

1 Подобным образом классический родительский дом с дверями и ок­нами на детских рисунках символизирует одновременно и самого ребен­ка (человеческое лицо) и материнское тело. Как и исчезновение жесту­альности, исчезновение этого традиционного дома, где были этажи, ле­стница, чердак и подвал, ведет прежде всего к фрустрации — человек лишается опознаваемой символики. Современный стиль вещей остав­ляет чувство неудовлетворенности своим отсутствием глубинного соуча­стия — в нем мы не воспринимаем инстинктивно свое собственное тело, практически не узнаем в нем своих органов, своей соматической орга­низации.

64

у облагодетельствованных чудо-вещами появляется какое-то угрюмое довольство, равнодушие и невольный страх пас­сивных зрителей своего могущества. Ненужными оказыва­ются многие привычные жесты, прерываются многие бы­товые ритмы, основанные на телесных движениях, и все это имеет глубокие психофизиологические последствия. Фак­тически свершилась настоящая революция быта: *вещи ста­ли сложнее, чем действия человека по отношению к ним.* Вещи делаются все более, а наши жесты — все менее дифферен­цированными. Это можно сформулировать иначе: вещами больше не определяются роли в театре жестов — в своей сверхцелесообразности они сами становятся ныне едва ли не актерами в том всеобъемлющем процессе, где на долю человека остается лишь роль зрителя.

Приведем в качестве притчи одну любопытную историю. Дело было в XVIII веке. Некий иллюзионист, изощренный в часовой механике, соорудил человека-автомат. Причем автомат был настолько совершенным, настолько гибким и непринужденным в своих движениях, что, когда иллюзио­нист вместе со своим творением выходил на сцену, зрители не могли отличить, кто из них человек, а кто автомат. И тог­да иллюзионисту пришлось сделать механичными свои соб­ственные жесты и, в качестве высшего искусства, слегка разладить свою собственную фигуру — только так спектакль мог вновь получить свой смысл, ибо в конечном счете зри­телям стало бы слишком не по себе от непонимания, кто здесь «настоящий», — пускай уж лучше они принимают че­ловека за машину, а машину за человека.

Это иллюстрация особого, как бы фатального отноше­ния человека к технике — с той разницей, что в современ­ной реальности спектакль больше не кончается радостны­ми аплодисментами публики, довольной, что ее так тонко провели. Это иллюстрация общества, где техническое ос­нащение настолько усовершенствовалось, что выступает уже как система «синтетической» жестуальности, превосходя­щая жестуальность традиционную и образующая высшую проекцию внутренне завершенных структур сознания. Пока еще точность и гибкость движений, необходимые в некото-

65

рых видах труда, могут быть обеспечены только человечес­ким жестом. Но ничто не мешает считать, что «технэ»1 входе своего беспрерывного прогресса должно в итоге прийти к «мимесису»2, подменив мир природный миром умопостижимых изделий. Если симулякр столь хорошо симулирует реальность, что начинает эффективно ее регулировать, то ведь тогда, по отношению к такому симулякру, уже сам че­ловек становится абстракцией! Об этом писал Льюис Мамфорд («Техника и цивилизация», с. 296): «Машина приво­дит к отмиранию функций, граничащему с параличом». Те­перь это уже не плод механистического вымысла, а непосредственная житейская реальность: движения, требу­емые от человека при обращении с техническими предме­тами, дискретны, составляют ряд скудных жестов, жестов-знаков, в них стерта ритмичность. Эти жесты — почти та­кие же, как у иллюзиониста из притчи, который рядом со своей сверхсовершенной машиной вынужден был сам дви­гаться неуклюже-механично. Спроецировав себя в связную структуру, человек сам оказывается отброшен в бессвяз­ность. Перед лицом функциональной вещи он оказывается дисфункционален, иррационально-субъективен; отныне он — пустая форма, открытая для любых функциональных ми­фов и любых фантазматических проекций, связанных с ог­лушительной эффективностью внешнего мира.

#### Функционалистский миф

Действительно, конкретная динамика усилия, абстраги­ровавшись в механизмах и жестах контроля, все же не ис­чезла полностью; она интериоризировалась, превратившись во внутренне переживаемую динамику функционалистского мифа, динамику будущего всецело функционального мира, чей образ уже явлен нам в каждом техническом пред­мете. Вытесненная жестуальность становится мифом, про­екцией, трансцендентностью. Поскольку из нашего поля зрения исчезло перетекание энергии, поскольку мы пере-

1 Искусство, ремесло *(греч.).* — *Прим. перев.*

2Подражание *(греч.). — Прим. перев.*

66

живаем ее как бы растворенной в вещи, поскольку мы от­ныне лишь безответственные пользователи стремящихся к нулю жестов и усилий, то это позволяет и даже требует от нас веровать в абсолютную, ничем не ограниченную функ­циональность, в то, что знаки способны быть действенны. Оживает что-то наподобие процедуры, господствовавшей в старину в мире магии, когда вся реальность выводилась из одного-единственного знака. «Чувство действенности пер­вобытной магии отчасти сказывается в безоглядной вере в прогресс», — пишет Симондон (цит. соч., с. 95). Это верно по отношению к техническому обществу в целом, и это вер­но также, в форме не столь явной, но стойкой, примени­тельно к бытовой среде, где малейший «гаджет» образует вокруг себя техномифологическое силовое поле. Способ применения бытовых вещей становится почти непрелож­ной схемой мировосприятия. Между тем технический пред­мет, требующий от нас лишь чисто формального соучастия, изображает нам мир, где нет усилий, где энергия абстракт­на и всецело подвижна, где жест-знак обладает абсолютной действенностью1.

#### Функциональная форма: зажигалка

Обо всем этом и говорит стилизованная обтекаемость «функциональных» форм; их внутреннюю динамику обра­зует симулякр утраченной символической соотнесенности, они пытаются с помощью знаков заново внести в мир целе­сообразность. Такова зажигалка в форме береговой гальки, вот уже несколько лет успешно внедряемая рекламой. Ее форма продолговато-эллиптическая, асимметричная, «высокофункциональная» — не потому, что данная зажигал­ка лучше других высекает огонь, а потому, что она «сочета-

1 Такую мифологию следует отличать от идеологии Прогресса. Сколь бы ни была абстрактна эта идеология, она остается некоторой гипотезой о структурах бытия и находит себе опору в технической эволюции; тогда как в функционалистском мифе просто подразумевается, что за знаками стоит некоторая техническая целостность. Идеология прогресса служит (в XVIII и XIX вв.) социокультурным опосредованием, мифология же — фантазматическим предвосхищением.

67

ется с формой ладони». «Само море отшлифовало ее в фор­ме ладони» — это как бы свершившийся факт. Функциональ­ность зажигалки не в том, чтобы зажигать, а в том, чтобы быть «сподручной»; и ее форма как бы самой природой (мо­рем) предназначена для того, чтобы ею манипулировал че­ловек. В такой новой целесообразности и заключена ее осо­бая риторика. Коннотация здесь двойная: промышленное изделие (зажигалка) словно заново обретает одно из досто­инств изделий ремесленных, чья форма продолжает собой человеческий жест и человеческое тело. А с другой сторо­ны, упоминание о море отсылает нас к мифу о природе, ко­торая уже сама по себе окультурена применительно к чело­веку и приспосабливается к малейшим его желаниям: море играет здесь культурную роль шлифовальщика, природа превращается в чудесную мастерскую ремесленника1. Так зажигалка вместо морского камешка, приспособленного рукой для добывания огня, оказывается волшебным огни­вом, то есть на практике даже в промышленном изделии, по сути, действуют сложные представления о целесообраз­ности, восходящие к доисторической ремесленной эпохе.

#### Формальная коннотация: крыло автомобиля

Долгое время американские автомобили украшались ог­ромными крыльями, о которых Паккард в своем «Искусст­ве расточительства» (с. 282) пишет, что они символизируют собой американскую одержимость потребительскими бла­гами; но у них есть и другие значения. Автомобиль, едва вы­делившись как вещь из прежних форм экипажа и обретя структуру, согласную своей функции, очень скоро начинает лишь коннотировать этот достигнутый результат, конноти­ровать сам себя как функцию победоносности. Перед нами настоящее торжество вещи: автомобильное крыло становит­ся *знаком* победы над пространством — чистым знаком, без

1 Мифы о «природе» чаше всего действуют посредством отсылки к ка­кой-то более ранней культурной системе — через такой промежуточный этап псевдоистории происходит регрессия к мифической цельности мира; таким образом, из мифа о доиндустриальном ремесле логически вытекает миф о «функциональной» природе, и наоборот.

68

всякой связи с самой этой победой (скорее оно даже пре­пятствует ей, утяжеляя машину и делая ее более громозд­кой). Конкретно-техническая подвижность получает здесь дополнительный смысл абсолютной обтекаемости. Ибо ав­томобильное крыло не является *знаком реальной* скорости, им обозначается скорость высшая, безмерная. Оно внуша­ет мысль о волшебном, благодатном автоматизме, в нашем воображении машина приводится в движение самим при­сутствием этого крыла, она летит на собственных крыльях, имитируя тем самым некий более высокий организм. Реальной действующей силой машины является двигатель, воображаемой же — крыло. Чтобы оформить такой спек­такль спонтанной и сверхвещественной действенности, не обойтись без природной символики — и вот автомобиль украшается крыльями и фюзеляжем, которые в других ма­шинах служат структурными элементами; автомобиль при­сваивает себе знаки самолета — прообраза вещи, преодоле­вающей пространство; а в конечном итоге эти знаки оказы­ваются похищенными у природы — у акул, птиц и т.д.

В наши дни природные коннотации изменили свой ре­гистр. Раньше всюду царила буйная флора, покрывая все вещи, даже машины, знаками земнородности и тем самым натурализуя их1, сегодня же перед нами намечается систе­матика текучести, заимствующая свои коннотации уже не из статичных стихий земли и флоры, а из текучих стихий воздуха и воды, а также из животной динамики. Но, даже обратившись от органики к текучести, эта новейшая при­родность все равно коннотирует собой природу. Внеструктурный, несущественный элемент — например, крыло ав­томобиля — всегда приписывает техническому предмету *природную* коннотацию.

Тем самым коннотация эта оказывается также и *аллего­рической.* Когда в фиксированную структуру вторгаются внеструктурные элементы, когда в вещи появляется чисто фор-

1 Ныне от этих растительно-материнских коннотаций кое-что сохра­нилось разве что в плавности очертаний. Гнутые линии призваны сооб­щать вещам органическую семантику вместилища — или же природной эволюции. Поэтому они исчезают или становятся эллиптическими.

69

мальная деталь, то реальная функция остается лишь в каче­стве алиби, а *форма лишь обозначает собой идею функции:* то есть она становится аллегоричной. Автомобильное крыло — это наша современная аллегория. Вместо муз и цветоч­ков нам служат для этой цели автомобильные крылья и отшлифованные морем зажигалки. А дискурс бессознатель­ного высказывается именно через аллегорию. И вот в авто­мобильном крыле выражается глубинный фантазм скорос­ти, но в уклончиво-регрессивном виде. Действительно, ско­рость представляет собой функцию фаллического порядка, в автомобильном же крыле нам явлена лишь формализован­ная, застывшая скорость, едва ли не пожираемая глазами. Оно включается уже не в активный процесс, а лишь в «символи­ческое» наслаждение скоростью; это как бы последняя, пас­сивная стадия деградации энергии до чистого знака, где бес­сознательное желание твердит одну и ту же неизменную речь. Таким образом, формальная коннотация вполне эквива­лентна применению *цензуры.* За внешней функциональной завершенностью форм происходит распад традиционной фаллической символики: с одной стороны, она абстрагиру­ется, становясь симулякром могущества (скрытый, непонят­ный механизм), а с другой стороны, она регрессивно-нарциссически довольствуется облекающими ее формами и их «фун­кциональностью».

#### Алиби формы

Теперь мы лучше видим, каким образом формы произ­водят свой дискурс и на что он нацелен. Соотносясь между собой и своей стилизацией постоянно отсылая к другим го­мологичным формам, они предстают как законченный дис­курс — оптимальная реализация некоторой сущности чело­века и мира. Но такой дискурс никогда не бывает невин­ным: в артикуляции форм всегда кроется некий косвенный дискурс. Форма зажигалки соотносится с формой руки че­рез посредство «отшлифовавшего» ее моря, автомобильное крыло соотносится *с* преодолением пространства *через посредство* самолета, птицы и т.п. — фактически же через посредство *идеи* моря, *идеи* самолета и птицы. Итак, мы ви-

70

дим, как в артикуляцию форм повсюду вкрадывается Идея Природы, сама принимая многообразные формы (элемен­ты животного и растительного царства, человеческое тело, даже пространство как таковое)1. В той мере в какой фор­мы, образуя систему, воссоздают также и своеобразную внут­реннюю целесообразность, они тем самым получают коннотативный смысл природы — той природы, что по-прежнему составляет идеальный ориентир всякой целесо­образности.

В «вульгарных» вещах, исчерпывающихся своей функ­цией, такой целесообразности нет. Применительно к ним можно говорить не о «среде», но лишь об окружении. Дол­гое время им пытались искусственно навязать какую-то то­порную целесообразность: швейные машины украшались цветочными узорами, Кокто и Бюффе еще не так давно за­нимались «оформлением» холодильников. Или же, не умея «натурализовать» вещи, старались хотя бы скрыть их при­сутствие. Так и в наши дни, после сравнительно короткой фазы, когда машины и вообще техника, гордясь своим рас­крепощением, непристойно выставляли напоказ свою прак­тичность, — ныне стыдливость настоятельно требует скры­вать практическую функцию вещей:

«Отопление мазутное, осуществляется посредством абсолют­но невидимой сети труб».

1 В реальности пространство получает еще и коннотативный смысл пу­стоты: не оно рождается (как «ритмизованное» пространство) из живой взаимной соотнесенности форм, но сами формы оказываются соотнесе­ны друг с другом *через* пространство, вернее через его формализованный знак. В комнате, где много пространства, возникает *эффект Природы —* «все дышит». Отсюда тяга к пустоте: так голые стены комнаты могут обо­значать культурность и достаток. Чтобы выделить какую-нибудь безделуш­ку, вокруг нее создают пустоту. Таким образом, «среда» зачастую представ­ляет собой лишь формальную расстановку, где те или иные вещи «персо­нализируются» через исчислимость пустоты. И наоборот, в серийных интерьерах среда разрушается дефицитом пространства, где вещам не дано их роскошного дыхания. Быть может, в такой деланной пустоте следует усматривать отголосок определенной морали, культивирующей отличие и дистанцию. Итак, здесь тоже происходит инверсия традиционной кон­нотации — коннотации полноценных субстанций, накапливаемых и про­стодушно выставляемых напоказ.

71

«При всей своей необходимости, гараж ни в коем случае не дол­жен бросаться в глаза, занимая тот или иной уголок сада... Поэтому он укрыт под земляной насыпью. Бетонную крышу строения прикрывает альпийский садик, а с внутренней час­тью усадьбы оно сообщается посредством укрытой в земляном откосе дверцы...»

Натурализация, скрадывание, переоформление, декорирование — все это окружает нас вещами, где форма высту­пает *как ложное разрешение противоречия в способе пережи­вания вещи.* Случайно-разрозненные украшения ныне усту­пают место более тонким решениям, но в них все равно непременно присутствует коннотация природности, заклю­ченная в самом дискурсе форм. Такая натурализация сама собой нагружается морально-психологическими отсылка­ми. Характерна в этом отношении сама рекламная лексика с ее развитой эмоциональной терминологией: «тепло», «уют», «сияние», «подлинность». В рекламном дискурсе ис­числимость форм и «функциональный стиль» аккомпанируются целой риторикой «природных» смыслов. «Теплота», «подлинность», «добросовестность» позволяют многое по­нять в этой двусмысленной системе, где проступают в каче­стве знаков (наподобие птиц, пространства и моря, о кото­рых говорилось выше) традиционные, давно утраченные ценности. Разумеется, здесь нельзя говорить о «лицемерии». Но не является ли такой систематичный, однородно-функ­циональный мир красок, веществ и форм, где влечение, же­лание и взрывчатая сила инстинкта во всем если не отрица­ются1, то отвергаются, опровергаются, — не является ли этот мир еще и миром моральным, даже гиперморальным? В наши дни лицемерие состоит уже не в том, чтобы при­крывать непристойность природы, а в том, чтобы *доволь­ствоваться* (или хотя бы стремиться к этому) *безобидной при­родностью знаков.*

1 *Моральный* отказ от инстинкта еще означает, что последний все-таки остается где-то рядом. Здесь же никакой близости больше не осталось: природа во всех ее формах одновременно обозначается и отвергается од­ними и теми же знаками.

72

## III. Заключение: природность и функциональность

В итоге своего анализа смысловых элементов расстановки и среды мы можем заключить, что данная система в целом ос­новывается на понятии *функциональности.* Краски, формы, ма­териалы, расстановка, пространство— все функционально. Все вещи объявляют себя функциональными, так же как все по­литические режимы — демократическими. Между тем это по­нятие, включающее в себя все современные факторы привле­кательности, само по себе сугубо двойственно. Будучи произ­водным от «функции», оно подразумевает, что вещь реализует себя, точно соответствуя реальному миру и человеческим по­требностям. Фактически же из вышеприведенного анализа вытекает, что *«функциональным» именуется отнюдь не приспо­собленное к некоторой цели, но приспособленное к некоторому строю или системе;* функциональность есть способность ин­тегрироваться в целое. В случае же вещи это не что иное, как способность преодолеть свою «функцию» ради какой-то вто­ричной функции, способность стать элементом игры, комби­наторной исчислимости в рамках всеобщей системы знаков.

Таким образом, функциональная система всякий раз од­новременно и *сугубо двусмысленно* характеризуется как:

1) *Преодоление* традиционной системы в трех ее аспектах (первичной функции вещей, первичных влечениях и по­требностях, символическом соотношении того и другого).

2) Одновременный *отказ* от всех этих трех взаимосвя­занных аспектов традиционной системы.

Иными словами:

1) Связность функциональной системы вещей возникает оттого, что эти вещи (и отдельные их аспекты — цвет, форма и т.д.) обладают уже не самостоятельным смыслом, но всеобщей функцией знаковости. В них всегда присутствует строй При­роды (первичная функция, бессознательное влечение, симво­лическая соотнесенность с человеком), но присутствует лишь в виде знака. Материальность вещей больше не сталкивается в них непосредственно с материальностью потребностей: про-

73

исходит выпадение этих двух несвязно-первичных антагони­стических систем, в силу того что между ними вклинивается абстрактная система манипулируемых знаков — *функциональ­ность.* Одновременно исчезает и символическая соотнесен­ность: в знаке всякий раз предстает природа обузданная, об­работанная, абстрактная, без времени и без страха и постоян­но переходящая в культуру в силу самой сущности знака; это природа систематизированная — природность (или, если угод­но, *культурность*)1.Подобная природность является, таким об­разом, частным следствием любой функциональности. Тако­ва современная коннотация системы «среды».

2) Своим постоянно *преодолеваемым* присутствием в си­стеме (в форме гораздо более связной и исчерпывающей, чем во всех культурах прошлого)2 Природа сообщает этой системе достоинство культурной модели и свою объектив­ную динамику.

Но своим постоянно *опровергаемым* присутствием в сис­теме Природа делает эту систему системой отказа, дефици­та, алиби (хотя и в этом она является более связной, чем все системы прошлого).

То, что с одной стороны организуется и исчисляется, с другой стороны — коннотируется и не признается; и здесь и там выступает одна и та же функция знака, одна и та же ре­альность функционального мира.

1 Действительно, культура и природа противопоставлены здесь лишь формально, в знаке они могут меняться местами; в обоих понятиях — «при­родность» и «культурность» — важнее всего суффикс. Этот суффикс нам уже попадался и еще будет попадаться сплошь и рядом: «цель — целесооб­разность», «функция — функциональность», а в дальнейшем также и «ис­тория — историчность», «личность — личностность» (персонализация) и т.д., — обозначая всякий раз переход к абстрактному вторичному смыслу на уровне знака и обладая в силу этого первостепенной важностью при анали­зе любой систематики, особенно же коннотативных структур.

2 Действительно, культура была такой всегда. Но сегодня перед нами впервые открываются на уровне повседневного быта предпосылки неко­торой системы, способной вобрать в свою абстракцию все атрибуты ве­щей, то есть достичь очень высокой внутренней автономии и, может быть, даже (именно такова цель, на которую она нацелена) полной синхронии между человеком и окружающей его бытовой средой, сведя и того и дру­гую к простым знаковым элементам.

74

## ПРИЛОЖЕНИЕ: ДОМАШНИЙ МИР И АВТОМОБИЛЬ

Проделанный выше анализ в целом касается только до­машней обстановки, домашнего быта. Действительно, по­чти все наши обиходные вещи сосредоточены в простран­стве частного жилища. Однако система не исчерпывает­ся одним лишь домашним интерьером. Она включает и один внешний элемент, вводящий в нее новое измерение, — автомобиль.

Это вещь из вещей, в том смысле что она покрывает со­бой все аспекты нашего анализа: абстрагирование от вся­кой практической цели ради скорости и престижа; фор­мальную коннотацию; техническую коннотацию; форси­рованную дифференциацию; нагруженность страстями; проекцию фантазмов. В автомобиле четче, чем где-либо еще, проявляется взаимосвязь субъективной системы по­требностей и объективной системы производства. Все эти аспекты анализируются в других главах. Здесь же нам хо­телось бы остановиться на том, каково место автомобиля в общей системе.

Автомобиль включен в систему как элемент, дополни­тельный ко всем прочим вещам вместе, и каждая из них рядом с ним предстает как нечто частное — не просто ме­нее сложное по устройству, но не занимающее само по себе особого положения в системе. По своей позиционной зна­чимости сравниться с автомобилем способна лишь вся сфе­ра домашнего быта как целое (мебель, бытовая техника, «гаджеты» и т.д.), структурированная по основной оппо­зиции расстановки/среды. Разумеется, в нашем житейском опыте домашняя сфера, с ее множественностью забот, фун­кций и отношений, гораздо важнее, чем «сфера» езды на автомобиле. Но в системном плане приходится признать, что она образует лишь один из двух полюсов общей систе­мы, тогда как вторым является именно автомобиль.

Автомобиль, вбирая в себя все оппозиции и скрытые зна­чения домашнего интерьера, привносит дополнительно еще

75

и идею мощи, некоторую недостающую трансцендентность, — но при этом никогда не ставит под вопрос самое систему; благодаря машине частный быт делается соразмерен цело­му миру, не переставая оставаться повседневным бытом; то есть система обретает эффективную насыщенность, не вы­ходя за собственные рамки.

Передвижение является необходимостью, скорость — удо­вольствием. Обладание же автомобилем дает нечто еще боль­шее — как бы свидетельство о гражданстве; водительские права служат дворянской грамотой для новейшей моторизо­ванной знати, на гербе которой начертаны компрессия газов и предельная скорость. А изъятие водительских прав — это ведь сегодня своего рода отлучение, социальная кастрация1.

Даже если не усматривать в автомашине современную версию древнего мифа о кентавре, сливающем в себе че­ловеческий ум и животную силу2, можно тем не менее при­знать, что это вещь не простая, а сублимированная. В ней как бы заключается в скобки обиходная повседневность всех остальных вещей. Преобразуемый ею материал — про­странство-время — не сравним ни с каким иным; и дина­мический синтез, который дается автомобилем в форме скорости, также глубоко отличается от какой бы то ни было обыкновенной функции. Движение уже само по себе ока­зывает на нас глубоко благотворное воздействие, но меха­ническая эйфория скорости — это нечто иное: в нашем во­ображаемом под нею скрывается чудесное перемещение «само собой». Подвижность без усилий — это некая бла­женная ирреальность, где приостанавливается существо­вание и отменяется ответственность. Интегрируя в себе пространство-время, скорость делает мир двумерным, сво­дит его к плоскому образу; она не считается с его рельеф­ностью и с его становлением и как бы приводит нас к воз-

1 Иногда оно применяется как мера против сутенеров.

2 О мифологии Кентавра и фантазмах, проецируемых на лошадь и на автомобиль, см. главу «Коллекция».

76

вышенно-неподвижной созерцательности. «Движение, — пишет Шеллинг, — это всего лишь стремление к покою». На скорости свыше ста километров в час возникает пре­зумпция вечности (а также, возможно, и невроза). Эйфо­рия от езды в автомобиле, питаемая этим чувством своей неподвластности миру (он остается далеко позади или же впереди), не имеет ничего общего с активным жизненным тонусом: здесь происходит пассивное удовлетворение в по­стоянно меняющихся декорациях.

Такая «динамическая эйфория» противостоит статичным удовольствиям семьи и недвижимости, а вместе с тем и аб­страгируется от социальной действительности. Например, в «Жоли мэ» приводились признания одного из тысяч та­ких людей, для кого автомобиль — это нейтральная терри­тория между работой и семейным домом, пустой вектор чи­стого перемещения: «Приятные минуты, — говорит он, — бывают у меня только по дороге из дома в контору. Я куда-то еду, еду... А сегодня и той радости нет, потому что движе­ние слишком плотное». Таким образом, машина не просто противостоит дому, образуя вторую половину повседневно­го быта, — она и сама представляет собой особое жилище, только недоступное для посторонних; это замкнуто-интим­ная сфера, но без обычных черт уюта, с острым чувством формальной свободы, с головокружительной функциональ­ностью. Интимность очага — это интимность инволюции, замкнутости в отношениях и привычках домашнего быта. Интимность автомобиля — это интимность метаболизма, стремительного прорыва сквозь время и пространство, и вместе с тем это место, где всегда возможен *несчастный слу­чай;* в этой случайности, часто так и не реализуемой, но по­стоянно воображаемой и всегда изначально признаваемой, достигает высшей точки та интимность наедине с собой, та формальная свобода, которая краше всего в смерти. Осу­ществляется необычайный компромисс: оставаясь у себя дома, мы все более удаляемся от дома. Итак, автомобиль —

77

это средоточие новейшей субъективности, центр без окруж­ности, тогда как у субъективности домашнего мира всегда есть внешняя граница.

Подобной сублимации, преображения мира не дает ни одна другая вещь, техническое устройство или «гаджет» по­вседневного обихода. Любой функциональный предмет не­сет в себе дополнительный смысл могущества, но в домаш­не-бытовой сфере он минимален. Да и вообще дом не та об­ласть, где человек обретает свою социальную ценность, — разве что дом сам выходит за собственные пределы в кате­гориях престижа или светского общения. (В том и состоит одна из главных проблем супружеской жизни, что в ней ча­сто не удается присваивать друг другу ценность.) По отно­шению к этому «горизонтальному» сектору домашнего быта машина с ее скоростью составляет как бы «вертикаль», тре­тье измерение1. Это фактор облагораживающий, освобож­дающий человека не только от ограничений органического существования, но и от ограничений социальных. Если до­машний быт замыкается в себе, не доходя до социальности, то автомобиль, чистая функциональность которого связана лишь с покорением пространства и времени, обретает свое обаяние как бы по ту сторону ее. Фактически же по отно­шению к общественной сфере и домашний очаг и автомо­биль образуют одну и ту же абстракцию частной жизни; их двучленность сопряжена с двучленностью труда и досуга, об­разуя вместе общую структуру повседневной жизни.

Подобная систематическая биполярность, эксцентрич­ность и вместе с тем дополнительность машины по отно­шению к очагу имеет тенденцию накладываться на распре­деление социальных ролей между полами. Действительно, машина, как правило, остается достоянием мужчины. «У папы своя «Пежо», у мамы — свои «Пежо», — говорится в

1 Отсюда — хорошо известная неприязнь среднего водителя кавтомобильной технике безопасности (ремням и т.д.). Безопасность пусть будет дома — машина же в этом смысле именно нечто иное, чем дом, нечто обратное ему.

78

одной рекламе; то есть у мужчины — автомобиль, а у женщи­ны — миксер, кофемолка, кухонный комбайн и т.д.1 Мир се­мейного быта — это мир пищевых продуктов и многофунк­циональной техники. Мужчина же царит во внешней сфере, наиболее действенным знаком которой является автомобиль; оттого-то его и нет на рекламной картинке. Таким образом, как в плане вещей, так и в плане человеческих ролей дей­ствует одна и та же оппозиция — но в данном случае, что су­щественно, в рамках одной и той же фирмы «Пежо».

Очевидно, это сочетание не случайно. В самом деле, оно вступает в корреляцию с глубинными психосексуальными факторами.

Мы видели, что скорость — это одновременно трансцен­дентность и интимность. Покоряя пространство, абстрактно означающее собой реальный мир, осуществляя в нем свое мо­гущество, человек осуществляет тем самым нарциссическую самопроекцию. Стоит задуматься об «эротической» значимо­сти автомобиля или скорости: снимая социальные табу, а од­новременно и непосредственную ответственность, автомо­биль своей подвижностью устраняет целый ряд психологи­ческих сопротивлений, действовавших по отношению к самому человеку и к другим; в автомобиле, в ситуации, где ни за что не требуется расплачиваться, человек обретает и то­нус, и блеск, и обаятельность, и дерзость, а с другой стороны, такая ситуация благоприятствует эротическим от­ношениям, обращая двойную нарциссическую проекцию на один и тот же фаллический объект (машину) или на одну и ту же объективированную фаллическую функцию (скорость). Таким образом, эротизм автомобиля связан не с активно-наступательным сексуальным поведением, а с пассивно-нар­циссическим самообольщением каждого из партнеров, об­ретающих нарциссическую сопричастность в одном и том же

1 Следует признать, что такая тесная сопряженность мужчины с ма­шиной, а женщины с домом имеет тенденцию к ослаблению — если не на уровне представлений, то на уровне фактов.

79

объекте1. Эротическая окрашенность играет здесь ту же роль, что и реальный либо психический образ при мастурбации.

Поэтому ошибочно видеть в автомашине «женский» предмет2. Хотя в рекламе о ней всегда говорится как о жен­щине: «гибкая, породистая, удобная, практичная, послуш­ная, горячая» и т.д., — это связано скорее с общей фемини­зацией вещей в рекламе: вещь-женщина — это эффективнейшая схема убеждения, социальная мифология, все вещи, и машина в том числе, притворяются женщинами, чтобы их покупали. Здесь, однако, работает общекультурная сис­тема. Для самой же машины глубинная фантазматизация происходит иначе. В зависимости от ее использования, от ее характеристик (гоночный «спайдер» или же лимузин на бархатном ходу) автомашина может приобретать психичес­кую нагрузку как мощи, так и убежища, представать как снарядом, так и жилищем. В глубине же, как и любой фун­кциональный механический предмет, автомобиль прежде всего переживается — причем всеми, мужчинами, женщи­нами, детьми, — как фаллос, объект манипуляции, береж­ного ухода, фасцинации. Это фаллическая и вместе с тем нарциссическая самопроекция, могущество, очарованное собственным образом. Мы уже разбирали в связи с автомо­бильным крылом, как этот бессознательный дискурс коннотируется непосредственно в формах автомобиля.

1 Не так давно подобное отношение нарциссического сообщничества через посредство вещи или же целой системы вещей было показано, в си­туации супружеской пары, в романе Жоржа Перека «Вещи» (издательство «Летр нувель», 1965). Очевидно, здесь и заключается современная особен­ность семейной жизни: сегодня все способствует тому, чтобы вещи пита­ли собой взаимоотношения, а взаимоотношения (сексуальные, супружес­кие, семейные, микрогрупповые) оказывались рамкой для потребления вещей.

2 Само слово «автомобиль» в разных языках бывает как мужского, так и женского рода.

# В. НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ ДИСКУРС СУБЪЕКТА

## I. Маргинальная вещь — старинная вещь

Имеется целая категория вещей, которые по видимости не укладываются в проанализированную выше систему. Это вещи уникальные, диковинные, фольклорные, экзотические, старин­ные. Они как будто противоречат требованиям функциональной исчислимости, соответствуя желаниям иного порядка — выра­жать в себе свидетельство, память, ностальгию, бегство от дей­ствительности. Возникает соблазн усмотреть в них пережиток тра­диционно-символического строя. Однако, при всем своем отли­чии, такие вещи тоже включаются в современную цивилизацию и в рамках ее обретают свой двойственный эффект.

### ЭФФЕКТ СРЕДЫ: ИСТОРИЧНОСТЬ

Фактически они даже не занимают в системе особого места: просто *функциональность современных вещей становится историч­ностью в вещах старинных* (или маргинальностью — в вещи-ди­ковинке, экзотичностью — в вещи первобытной), *отнюдь не пе­реставая при этом выполнять системную функцию знака.* Среди знаков прежних культурных систем наибольшее развитие полу­чает, по сути, «природность», «природная» коннотация. Описан­ная выше зажигалка уже мифологизирована своей отсылкой к морю, но она все-таки еще для чего-то служит; старинная же вещь чисто мифологична, отсылая к прошлому. Она лишена какого-либо выхода в практику и явлена нам исключительно затем, что­бы нечто означать. Она неструктурна, отрицает структурность в принципе, знаменует собой совершенное отречение от первич­ных функций. Однако же она не является внефункциональной или просто «декоративной», и в рамках системы у нее есть впол­не специфическая функция: ею обозначается время1.

1 Здесь мы ограничимся лишь анализом «старинных» вещей, состав­ляющих наиболее наглядный образец вещей «внесистемных». Очевидно, од­нако, что подобному анализу на тех же самых основаниях могут быть подвер­гнуты и другие категории маргинальных вещей.

83

Система «среды» развертывается вширь, но она стремится быть целостной, и поэтому она должна вобрать в себя всю сложность жизни, включая такое важнейшее ее измерение, как время. Разумеется, в старинной вещи ухватывается не реаль­ное время1, а лишь его знаки, культурные индексы. Они аллегоричны и тем самым не противоречат организации це­лого: здесь все осуществляется через знаки, от них не усколь­зает ни природа, ни время. Но время не так легко, как приро­да, поддается абстракции и систематизации. В нем заключено жизненное противоречие, которое плохо интегрируется в ло­гику системы. Именно эта «хроническая» несистемность и чи­тается в зрительной коннотации старинных вещей. Если кон­нотация природности умеет быть тонкой, то коннотация «ис­торичности» всегда грубо бросается в глаза. Старинная вещь всегда как бы «подпирает стену»; будь она сколь угодно краси­вой, она все равно остается «эксцентричной», и даже при всей своей подлинности в чем-то кажется подделкой. Да она и дей­ствительно подделка, постольку поскольку *выдает себя за под­линную в рамках системы, основанной отнюдь не на подлиннос­ти, а на абстрактно-исчислимом знаковом отношении.*

### СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: МИФ О ПЕРВОНАЧАЛЕ

Итак, старинная вещь обладает особым статусом. Посколь­ку ее задача в рамках «среды» — заколдовывать время и пережи­ваться как знак, то она не отличается от любого другого элемен­та и соотносится с ними всеми2. Поскольку же, напротив, она обладает меньшей соотнесенностью с другими вещами и выс­тупает как нечто целое, как некая наличная подлинность, то у нее появляется специальный психологический статус. Она пе-

1 Подобно тому как природность — это по сути отречение от природы, так и историчность есть отказ от истории, скрываемый за превознесением ее знаков: история присутствует, но не признается.

2Фактически старинная вещь вполне интегрируется в структуры «сре­ды», поскольку там, где она помещена, она в общем переживается как «теп­лый» элемент, в противоположность всему «холодному» современному окружению.

84

реживается иначе. Именно в этом глубинная польза этой бес­полезной вещи. Откуда такая устойчивая тяга к старинным ве­щам — старой мебели, вещам подлинным и «стильным», к де­ревенским и ремесленным поделкам ручной работы, туземной керамике, фольклорным предметам и т.д.? Откуда этот сво­еобразный феномен аккультурации, который заставляет ци­вилизованных людей тянуться к знакам, эксцентричным в про­странстве и времени по отношению к их собственной культур­ной системе, всякий раз связанным с культурой прошлого, — феномен обратный тому, который заставляет жителей «не­доразвитых» стран тянуться к изделиям и техническим знакам индустриальных обществ?

Императив, которому отвечают старинные вещи1, — это императив завершенного, законченного в себе существа. Время, в котором живет мифологический предмет, — пер­фект; это то, что имеет место в настоящем в качестве сбыв­шегося прежде и что в силу этого глубоко укоренено в себе самом, то есть «подлинно». Старинная вещь — это всегда в широком смысле слова «семейный портрет». В конкретно-вещественной форме она запечатлевает в себе некое досто­памятное прошлое; на уровне воображаемого такой процесс соответствует устранению времени. Этого, разумеется, не­достает функциональным вещам, которые существуют лишь ныне, в актуальном индикативе или практическом импера­тиве, исчерпываясь своим применением и не обладая пред­шествующим бытием; более или менее заполняя собой про­странство, они не обеспечивают наполненность времени. Функциональная вещь обладает эффективностью, ми­фологическая вещь — завершенностью. Знаменуемое ею со­стоявшееся событие — это событие рождения. Я — не тот, кто живет сегодня (в этом мой страх), я тот, кто уже был рань-

1 Еще раз повторим, что это приложимо и ко всем экзотическим ве­щам: для современного человека удаленность по географической широте вполне эквивалентна погружению в прошлое (ср. туризм). Ручные подел­ки, туземные изделия, сувениры разных стран чаруют не столько своей живописной множественностью, сколько связью с прежними формами и способами производства, отсылая к иному, ушедшему в прошлое миру, ко­торый всегда сопрягается с миром детства и детских игрушек.

85

ше, согласно логике обратного рождения, знаменуемого мне таким предметом, который из настоящего устремлен в глубь времени; это и есть регрессия1. Таким образом, старинная вещь выступает как миф о первоначале.

### «ПОДЛИННОСТЬ»

Любовь к старине нельзя не сопоставить со страстью кол­лекционировать2: между ними имеются глубокие сходства — в том, что касается нарциссической регрессии, системы отмены времени, воображаемого господства над рождени­ем и смертью. Однако в мифологии старинных вещей сле­дует различать два аспекта — ностальгическое влечение к первоначалу и обсессию подлинности. И то и другое, по-видимому, вытекает из мифической отсылки к рождению, каковую представляет собой старинная вещь в своей вре­менной замкнутости; действительно, всякая рожденность предполагает наличие отца и матери. Инволюция к исто­кам — это, разумеется, регрессия в материнскую утробу; чем более старинны вещи, тем более они приближают нас к не­коей оставшейся в прошлом эпохе, к «божеству», к приро­де, к первобытным знаниям и т.д. Согласно Морису Рейм­су, подобная мистика существовала уже в раннем средневе­ковье: для христианина IX века греческая статуэтка или резной камень с языческими значками приобретали маги­ческую силу. Стремление же к подлинности — это, строго говоря, нечто совсем иное; оно выражается в навязчивом желании удостоверить подлинность произведения, будь то подлинность его происхождения, датировки, авторства, ав­торской подписи. Вещи сообщает особую ценность уже са­мый факт того, что некогда она принадлежала кому-то зна-

1 Два этих движения идут в противоположных направлениях: посколь­ку старинная вещь стремится интегрироваться в *нынешнюю* культурную систему, она из глубины прошлого *знаменует в настоящем пустое времен­ное измерение.* Поскольку же она является индивидуальной регрессией, то она, напротив, устремлена из настоящего в прошлое, пытаясь спрое­цировать в него пустое измерение бытия.

2 См. ниже, главу «Коллекция».

86

менитому или могущественному. Так и обаяние ремеслен­ной поделки возникает от того, что она вышла из чьих-то рук и в ней запечатлен труд этого человека; это обаяние *сотворенности* (а стало быть, уникальности, поскольку *мо­мент* творения невозвратим). Так что стремление найти в произведении *след творчества —* будь то реальный отпеча­ток руки автора или же хотя бы его подпись, — это тоже по­иски своих родовых корней и трансцендентной фигуры отца. Подлинность всегда исходит от Отца — именно в нем ис­точник ценности. И старинная вещь являет нашему вооб­ражению одновременно и благородные родовые корни, и инволюцию в материнское лоно.

### НЕОКУЛЬТУРНЫЙ СИНДРОМ: РЕСТАВРАЦИЯ

Таким образом, поиски *подлинности* (укорененности бытия в себе) точно совпадают с поисками *алиби* (ино-бытия). Поясним эти два понятия на хорошо известном ныне примере ностальгической реставрации: «Как построить себе старинные руины».

Вот каким образом современный архитектор перестраи­вает для себя старинную ферму где-то в «Иль-де-Франсе»: «Стены, прогнившие из-за отсутствия фундамента, снесены. Амбар, располагавшийся в южной стороне чердака, частич­но ликвидирован, чтобы освободить место для террасы... Все три капитальных стены незаметно надстроены. Для защиты от сырости под асфальтированной плитой на уровне пола создано пустое пространство глубиной 0,70 *м*... В старой по­стройке не было ни лестницы, ни камина, равно как и марсельских оконных рам, кламарской плитки, бургундской че­репицы, гаража в саду, широких стеклянных дверей... Кухня на 100% современная, так же как и ванная и т.д.» *Однако* «хорошо сохранившийся деревянный фахверк использован и в новой постройке», *однако* «при сносе стен тщательно со­хранен портал главной входной двери, при перестройке за­ново использованы старые камни и черепица» («Мэзон

87

франсез», май 1963 г.). Приводятся и фотографии, показы­вающие, что же, собственно, осталось от старинной фер­мы, после того как «архитектор простукал в ней каждый ка­мень и принял свои решительные меры»: остались рожки да ножки. Но «на камне сем я создам загородный дом свой» — на считанных старинных камнях дверного портала (сим­волично, что это именно вступительный элемент) в ценно­стном отношении покоится все здание. Именно они избав­ляют его от тяжести архитектурного компромисса между современной цивилизацией и природой — во вполне невин­ном, впрочем, стремлении приумножить комфорт. Став вла­дельцем фермы, архитектор фактически выстроил на ее ме­сте современный дом, которого ему и хотелось; но совре­менность еще не придает ему ценностной значимости, еще не превращает его в настоящее «жилище»; дому все еще не хватает бытия. Как храм бывает по-настоящему освящен лишь тогда, когда в него поместят святые мощи или релик­вии, — так и наш архитектор сможет по-настоящему почув­ствовать себя дома (то есть заглушить в себе тревогу), толь­ко если в новеньких стенах своего жилища он будет ощу­щать неприметное, но облагораживающее присутствие старинного камня — свидетеля поколений прошлого. Не будь этих камней, и мазутное отопление и гараж (прикры­тый сверху альпийским садиком) оставались бы — увы! — всего лишь самими собой, то есть унылыми требованиями комфорта. Своей достоподлинностью эти камни оправды­вают не только функциональную обстановку дома, но в из­вестной мере также и культурный экзотизм его современ­ного вторичного оформления (хотя оно и «выдержано в очень хорошем вкусе и отнюдь не в грубо-деревенском сти­ле»): тут и лампы из опалинового стекла, и декоративные соломенные кресла, и далматское кресло, «которое раньше приторочивалось на спину осла», и романтическое зеркало, и т.д. Культура в исхищрениях своей нечистой совести даже приходит к странному парадоксу: в то время как гараж ук­рывается под ложным альпийским садиком, о такой при­надлежности деревенского быта, как постельная грелка, го­ворится, что «она здесь вовсе не для украшения, а для дела»!

88

«Зимой она используется по назначению»! В первом случае практическая материальность вещей вуалируется, во втором — та же самая их практическая сущность восстанавливается вновь с помощью циркового фокуса. Действительно, в доме с мазутным отоплением постельная грелка совершенно ни к чему. Но тогда она перестанет быть настоящей, сделается не более чем культурным знаком, и в такой окультуренной, ни­чем не оправданной грелке слишком ясно отражается все тщеславие этого дома, силящегося заново обрести природ­ное состояние; слишком ясно отражается в ней и сам архи­тектор, которому, по сути, нечего здесь делать, чья социальная жизнь всецело протекает в других местах, чье *бытие* сосредо­точено не здесь, так что природа для него — лишь особая куль­турная роскошь; хорошо, конечно, что он может позволить себе такую роскошь, но сам-то он воспринимает это иначе; если грелка ни для чего не служит, она становится не более чем знаком богатства, из области бытия она перемещается в область имущества и престижа. Потому-то о ней и говорит­ся, что она для чего-то служит, — тогда как реально полезные предметы, мазутная печь или гараж, тщательно камуфлиру­ются, словно неизгладимый порок на теле природы. Итак, грелка здесь сугубо мифологична, как, впрочем, и весь дом (хотя на ином уровне он вполне реален и функционален, от­вечая весьма конкретному желанию жить с комфортом и на свежем воздухе). Если архитектор решил не просто снести старую постройку и соорудить на ее месте новую, комфорта­бельную, но сохранить из старой хотя бы несколько камней, то это потому, что изысканно-безупречная функциональность загородного дома переживалась им как неподлинная, не да­вала ему глубокого удовлетворения.

В функциональной обстановке человек не бывает «дома», и как церковь освящается щепкой от Креста Господня, так и здесь в самом сердце реальности, оправленный в нее и ее оправдывающий, должен помещаться некий талисман, кусочек абсолютной реальности. Именно такова старин­ная вещь, которая в окружающей ее обстановке всегда ос­мысляется как эмбрион, материнская клетка. Благодаря ей рассеянное в вещах бытие обретает самотождественность

89

в идеально-первоначальной ситуации зародыша, совершая инволюцию в пренатальное, микрокосмическое состояние бытия. Подобный фетишизированный предмет служит по­этому не аксессуаром и не просто культурным знаком среди прочих: в нем символизируется внутренняя трансцендент­ность, фантазматическое средостение реальности; в этом фантазме, которым живет всякое мифологическое и всякое индивидуальное сознание, проецируемая деталь оказывает­ся эквивалентом моего «я», и вокруг нее организуется весь остальной мир. Это фантазм сублимированной подлиннос­ти, которая всегда кончается, не доходя до реальности (sub limina). Подобно реликвии1, секуляризуя в себе ее функцию, старинная вещь осуществляет реорганизацию мира в виде констелляции, в противоположность его функционально-протяженной организации, в попытке предохранить от нее глубинную (очевидно, сущностно необходимую) ирреаль­ность нашей внутренней жизни.

Мифологический предмет, символизируя собой схему включения ценностного смысла в замкнутый круг завершен­ного времени, представляет собой дискурс, обращенный уже не к другим, а к себе. В своем довременном состоянии эти баснословные вещи-острова отсылают человека к детству или даже к еще более дальней пренатальной стадии, где чистая субъективность вольно-метафорически выражала себя в ок­ружающей «среде», а сама эта «среда» была лишь безупречным самонаправленным дискурсом человеческого существа.

### СИНХРОНИЯ, ДИАХРОНИЯ, АНАХРОНИЯ

В рамках частного быта подобные предметы образуют сферу особо приватную: человек имеет их, как имеет пред­ков — не как собственность, а как заступников, — а пред-

1 В таком смысле реликвия — это возможность заключить существо Бога или душу мертвых в некоторую вещь. И реликвия не может не быть оправлена в раку. Ценностный смысл как бы «перетекает» на золотую раку от реликвии, демонстрируя ее подлинность и тем самым делая ее еще бо­лее символически эффективной.

90

ки суть наиприватнейшее, что есть в его жизни. Они слу­жат бегством от повседневности, а самое радикальное и глубокое бегство — это бегство во времени1, в свое соб­ственное детство. Подобный метафорический побег при­сутствует, видимо, и в любом эстетическом переживании, но произведение искусства как таковое требует некото­рого рационального прочтения, тогда как старинная вещь в чтении не нуждается, она сама по себе «легенда», ибо характеризуется мифическим коэффициентом подлинно­сти. Ее специфическая переживаемость не меняется в зависимости от эпохи и стиля, от того, уникальное это изделие или серийное, драгоценное или нет, настоящее или поддельное; она и не бывает настоящей или поддель­ной — она «совершенна»; она не бывает внутри или вов­не — она есть «алиби»; она не бывает синхроничной или диахроничной (не включается ни в структуру «среды», ни в структуру времени) — она *анахронична;* к своему вла­дельцу она не относится ни как атрибут при глаголе «быть», ни как объект при глаголе «иметь» — в граммати­ке ее аналогом будет скорее категория внутреннего объек­та, почти тавтологически развертывающего в себе содер­жание самого глагола.

Функциональный предмет есть небытийность. Его реальность препятствует регрессии в ту область «совер­шенства», откуда необходимо происходить, чтобы быть сущим. Поэтому он так скуден: действительно, каковы бы ни были его цена, качество и престижность, в нем запечатлена и всегда будет запечатлеваться утрата Отца и Матери. Функционально богатый и знаково бедный, он соотнесен с сиюминутностью и исчерпывается буд­ничным обиходом. Мифологический же предмет, ми­нимально функциональный и максимально значимый, соотнесен со временем предков или даже с абсолютным прошлым природы. В житейском плане эти две проти­воречащих друг другу установки уживаются в одной и той же системе как взаимодополнительные. Именно по-

1 Таким образом, туристическая поездка всегда сопровождается по­исками утраченного времени.

91

этому в доме архитектора есть одновременно и мазут­ное отопление и крестьянская грелка. Точно так же ужи­ваются вместе карманное и редкое или старинное из­дание одной и той же книги, электрическая стиральная машина и старая стиральная доска, скрытый от глаз функциональный стенной шкаф и выставленный напо­каз испанский сундук1; в пределе такая взаимодопол­нительность иллюстрируется распространенным ныне обычаем иметь два жилища: городскую квартиру и за­городный дом2.

Такая дуальность вещей — это, по сути, дуальность сознания; она знаменует собой некоторую слабость и попытку преодолеть эту слабость на путях регрессии. В рамках цивилизации, где *синхрония* и *диахрония* стре­мятся к всеобъемлющему систематическому контролю над действительностью, она образует (как в плане ве­щей, так и в плане поступков и социальных структур) третье, *анахроническое* измерение. Свидетельствуя о том, что системность дает осечку, это регрессивное из­мерение тем не менее в этой же самой системе и укры­вается, парадоксальным образом позволяя ей функци­онировать.

1 Не будем искать здесь буквальных соответствий — для современных вещей функциональное поле членится иначе, чем для старинных. Кроме того, в случае последних функциональность фигурирует лишь как отме­ненная функция.

2 Таким раздвоением традиционно уникального домашнего очага на главное и второстепенное местожительство, на жилище функциональное и «натурализованное», по-видимому, лучше всего иллюстрируется процесс систематизации: чтобы достигнуть равновесия, система распадается на формально противоречивые, а по сути взаимодополнительные члены. Это проявляется во всем повседневном быте в целом — в структуре труда-досуга, где досуг отнюдь не преодолевает активную жизнь и даже не дает из нее выхода, а просто одна и та же будничная жизнь распадается надвое и по ту сторону реальных противоречий утверждается как связная и за­вершенная система. На уровне отдельных вещей этот процесс, разумеет­ся, не так заметен, но любая вещь-функция все равно способна сходным образом разделиться пополам, *формально противопоставившись сама себе и тем самым еще лучше интегрируясь в целое.*

92

### ОБРАТНАЯ ПРОЕКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ У ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Понятно, что такое двусмысленное сосуществование современной функциональности и старинного «декора» по­является лишь на известной стадии экономического разви­тия, на стадии промышленного производства и полного хо­зяйственного освоения окружающей среды. Представителям же менее благополучных социальных слоев (крестьянам, ра­бочим) и людям «первобытным» нечего делать со стариной, и они стремятся к функциональности. Однако обе тенден­ции имеют нечто общее. Когда «дикарь» жадно хватает часы или авторучку просто потому, что это «западная» вещица, мы ощущаем в этом некий комический абсурд: вместо того что­бы понять, для чего служит предмет, человек алчно присваи­вает его себе — это инфантильное отношение к вещи, фантазм могущества. У вещи больше нет функции, остается лишь смысловое свойство знака. Но разве не тот же самый меха­низм импульсивной аккультурации и магической аппроприации влечет «цивилизованных» людей к иконам или деревян­ным поделкам XVI века? Как «дикарь», так и «цивилизован­ный» улавливают в форме вещи некое «свойство» — один связывает его с современной техникой, другой со стародав­ними временами пращуров. При этом само «свойство» в том и другом случае оказывается различным. «Недоразвитый» нуждается в образе Отца как *Могущества* (в данном случае — могущества колониальной державы)1 ; страдающий носталь­гией «цивилизованный» — в образе Отца как *рожденности* и ценности. В первом случае это проективный миф, во втором — инволютивный. И будь то миф о могуществе или миф о первоначале, вещь всегда психически нагружается тем, чего недостает человеку: для «недоразвитого» в техническом пред-

1 Для ребенка окружающие предметы также первоначально исходят от Отца (а в самом раннем возрасте — и от фаллической матери). Присваивая себе вещи, можно присвоить себе могущество Отца (Р.Барт отмечает это в связи с автомобилем — «Реалите», октябрь 1963 г.). Пользование вещью соответствует процессу идентификации с Отцом, включая все вытекающие отсюда конфликты; оно всегда двойственно и в чем-то агрессивно.

93

мете фетишизируется могущество, для «цивилизованного» человека технической цивилизации в предмете мифологичес­ком фетишизируются рожденность и подлинность.

При всем том фетишизм есть фетишизм: в пределе каждая старинная вещь красива *просто потому, что она дожила до наших дней, а тем самым становится знаком не­коей прошлой жизни.* Тревожно-любознательная тяга к сво­им корням заставляет ставить рядом с техническими пред­метами, то есть знаками нашей нынешней власти над ми­ром, предметы мифологические как знаки былого. Ибо нам хочется быть только собой и одновременно быть «чьим-то» — наследовать Отцу, происходить от Отца. По­жалуй, человек никогда не сумеет сделать выбор между прометеевским проектом переустройства мира, требую­щим поставить себя на место Отца, и иным проектом — обрести благодать происхождения от некоего пер­вородного существа. О неразрешимости этой дилеммы свидетельствуют сами вещи. Одни из них опосредуют для нас настоящее, другие — прошлое, и последние значимы тем, что знаменуют нехватку. У старинных вещей есть как бы аристократическая частица при имени, и своим на­следственным благородством они компенсируют слиш­ком быстрое старение вещей современных. В прошлом старцы считались прекрасными, так как они «ближе к Богу» и богаче опытом. Нынешняя же техническая циви­лизация не признает мудрости стариков, зато преклоня­ется перед внутренней плотностью старинных вещей: в них одних запечатлен нетленный смысл.

### РЫНОК СТАРИНЫ

Во всем этом сказывается нечто большее, чем снобистс­кий зуд культурного престижа, описанный, например, у Вэнса Паккарда в книге «Одержимые стэндингом», — ког­да, скажем, в Бостоне считается шиком вставлять в окна старинные стекла с фиолетовыми отблесками. «Сами дефек­ты таких окон чрезвычайно ценятся, поскольку это стекло

94

происходит из партии низкокачественного товара, отправ­лявшегося в Америку английскими стекольщиками более трех столетий тому назад» (с. 67). Или же «когда житель предместья в мечте приобщиться к высшим слоям средне­го класса начинает скупать антикварные вещи — символы старинной респектабельности, ставшие ему доступными благодаря недавно сколоченному состоянию» (с. 67). В са­мом деле, социальный престиж может быть выражен мно­жеством способов — через автомобиль, современную вил­лу и т.д.; почему же он так тяготеет к знакам былого?1 Вся­кая благоприобретенная ценность стремится превратиться в наследственную, полученную свыше благодать. Посколь­ку же чистота крови, благородное происхождение и дво­рянские титулы утратили свою идеологическую значи­мость, то теперь вместо них такая трансцендентность зна­менуется знаками материальными — мебелью, вещами, драгоценностями, художественными произведениями всех стран и времен. И вот ради этого рынок заполняется не­сметным множеством знаков и идолов, «отсылающих» к чему-то (неважно, подлинных или нет); вырастает целый волшебный лес настоящей или поддельной мебели, ма­нускриптов и икон. Все прошлое в целом вновь включает­ся в цикл потребления и даже образует особый черный рынок. Чтобы насытить непомерные аппетиты буржуазных интерьеров Запада, охочих до всего примитивно-носталь­гического, уже не хватает Новых Гебридов, романской Ис­пании и базарной рухляди. Все чаще и чаще из музеев и церквей исчезают картины и статуи богоматери и святых. Они продаются из-под полы богатым собственникам, в глубине души не удовлетворенных своими чересчур но­венькими резиденциями. В итоге экономической истиной становится культурный парадокс: такой жажде подлин­ности способна удовлетворить одна лишь контрафакция.

1 Это, несомненно, все сильнее сказывается по мере восхождения по социальной лестнице, но уже начиная с весьма низких слоев, с некото­рого минимального уровня «стэндинга» и «городской аккультурации».

95

### КУЛЬТУРНЫЙ НЕОИМПЕРИАЛИЗМ

Покорять природу с помощью технических вещей и приручать чужие культуры с помощью вещей старинных — это, по сути, один и тот же империализм. В быту он заставляет человека окружать себя функционально-при­рученными вещами и прирученными знаками минувше­го, вещами-пращурами, по сущности своей сакрально-десакрализованными; их задача — являть свою сакральность (или историчность) среди лишенной истории домашней обстановки.

Таким образом, к набору современных форм потребле­ния добавляется еще и полный набор форм прошлого, об­разуя вместе как бы трансцендентную сферу моды.

## II. Маргинальная система: коллекция

В словаре Литтре дается, помимо прочих, такое опреде­ление слова «предмет»: «То, что является причиной, пово­дом некоторой страсти. Преимущественно в переносном значении: предмет любви».

Будем исходить из того, что предметы нашего быта в самом деле суть предметы страсти — страсти частной соб­ственности, по своей аффективной нагрузке ничуть не ус­тупающей другим людским страстям; такая бытовая страсть нередко преобладает над всеми прочими, а то и царит в одиночестве, в отсутствие всех прочих. Это страсть размеренно-диффузная, регулятивная, и нам плохо изве­стно ее фундаментальное значение в жизненном равно­весии индивида и социальной группы, даже в самой их решимости жить. В этом смысле в определенный момент вещи, помимо своего практического использования, ста­новятся еще и чем-то иным, глубинно соотнесенным с субъектом; это не просто неподатливое материальное тело, но и некая психическая оболочка, в которой я царю, вещь, которую я наполняю своим смыслом, своей соб­ственностью, своей страстью.

96

### ВЕЩЬ, АБСТРАГИРОВАННАЯ ОТ ФУНКЦИИ

Если я пользуюсь холодильником для охлаждения про­дуктов, то он служит практическим опосредованием — это не вещь, а холодильник. Именно поэтому я им не обладаю. Обладать можно не орудием, отсылающим нас к миру, но лишь вещью, *абстрагированной от своей функции и соотне­сенной с субъектом.* На данном уровне все предметы облада­ния причастны одной и той же *абстракции* и отсылают друг к другу в той самой мере, в какой они отсылают лишь к субъекту. Тогда они организуются в систему, благодаря ко­торой субъект пытается восстановить для себя мир как не­кую приватную целостность.

У каждой вещи, стало быть, две функции: одна — быть используемой, другая — быть обладаемой. Первая функ­ция связана с полем практической тотализации мира субъектом, вторая же — со стремлением к абстрактной са­мототализации субъекта вне мира. Эти две функции нахо­дятся в обратном соотношении. В предельном случае чис­то практическая вещь — машина получает социальный ста­тус. Или наоборот, вещь как таковая, лишенная функции или абстрагированная от своего применения, получает су­губо субъективный статус — становится предметом коллек­ции. Это уже больше не ковер, стол, компас или статуэтка — это просто «вещь». «Прекрасная вещь», — скажет кол­лекционер, а отнюдь не «прекрасная статуэтка». Не опре­деляясь более своей функцией, вещь квалифицируется са­мим субъектом; но тогда все вещи оказываются равноцен­ны в плане обладания, то есть страсти к абстракции. Одной вещи уже не хватает, для полноты проекта всегда требует­ся серия вещей, в пределе — их всеобъемлющий набор. По­этому обладание какой бы то ни было вещью несет чело­веку одновременно и удовлетворение и разочарование: за нею беспокояще проглядывает целая серия. Примерно то же самое происходит в плане сексуальном: если любовное отношение ориентировано на любимого во всей его еди­ничности, то любовное обладание как таковое удовлетво-

97

ряется лишь сменой предметов, или повторением одного и того же, или взаимной подстановкой всевозможных пред­метов. Только при более или менее сложной организации вещей, отсылающих одна к другой, каждая вещь делается достаточно абстрактной, чтобы переживаться в абст­рактном чувстве обладания.

Такая организация называется коллекцией. Обычные окружающие нас вещи сохраняют двойственный статус: их функциональность постоянно растворяется в субъек­тивности, обладание смешивается с применением в тщет­ных попытках достичь целостной интеграции. Напротив того, коллекция может служить нам моделью обладания — здесь эта страсть торжествует победу, здесь проза оби­ходных вещей превращается в поэзию, в триумфальный дискурс бессознательного.

### ПРЕДМЕТ-СТРАСТЬ

«Коллекционерство, — пишет Морис Реймс, — это своеобразная игра страстей» («Странная жизнь вещей», с. 28). Для ребенка это зачаточный способ освоения внеш­него мира — расстановка, классификация, манипуляция. Активная фаза коллекционерства бывает, судя по всему, у детей семи — двенадцати лет, в латентный период между препубертатным и пубертатным возрастом. В момент по­лового созревания страсть к коллекционерству имеет тен­денцию пропадать, но нередко вновь появляется сразу же после. В дальнейшем же эта страсть чаще всего бывает у мужчин в возрасте после сорока лет. В общем, во всех случаях она четко соотносится с сексуальным состояни­ем субъекта; коллекционерство выступает как мощный компенсаторный фактор в критические фазы сексуальной эволюции. Эта страсть всякий раз взаимодополнительна с активной генитальной сексуальностью; однако она не просто подменяет ее, а знаменует регрессию к анальной стадии, выражающейся в жестах накопления, упорядоче­ния, агрессивной задержки и т.д. Коллекционерское по-

98

ведение не равнозначно поведению сексуальному, оно не имеет целью удовлетворить влечение (как фетишизм), однако оно может давать не менее интенсивное реакциональное удовлетворение. Здесь вещь всецело осмысляется как предмет любви. «Пристрастие к вещи заставляет рассматривать ее как сотворенную самим Богом; так коллекционер фарфоровых пасхальных яиц считает, что сам Бог сотворил для них прекраснейшую и оригиналь­нейшую форму, причем сделал это исключительно на ра­дость коллекционерам...» (Морис Реймс, с. 33). «Я без ума от этой вещи», — говорят коллекционеры, и все они без исключения, даже при отсутствии фетишистской первер­сии, окружают свою коллекцию атмосферой скрытности, затворничества, таинственности и лживости, где просту­пают все характерные черты запретных отношений. Именно такая страстная игра сублимирует это регрессив­ное поведение, вплоть до мнения, что человек, ничего не коллекционирующий, — «кретин и жалкий человеческий отброс»1.

Итак, сублимация коллекционера связана не с приро­дой собираемых им вещей (они могут варьироваться в за­висимости от возраста, профессии, социальной среды), но с его собственным фанатизмом. Этот фанатизм — один и тот же у богатого любителя персидских миниатюр и у со­бирателя спичечных коробок. В этом смысле нередко про­водимое различение «коллекционера» и «любителя» (один любит вещи в их серийной последовательности, другой — в их чарующе-единичном разнообразии) ничего не решает. И тот и другой наслаждаются обладанием вещами, осно­ванным на том, что каждый элемент, с одной стороны, аб­солютно единичен и тем самым эквивалентен живому су­ществу, в конечном счете самому субъекту, — а с другой стороны, может образовывать серию, то есть допускает бесконечную игру подстановок. Здесь налицо и квинтэс­сенция качественности и манипуляция количеством. Воз­никая из смешения разных чувств (осязания, зрения), из

1 Г-н Форон, президент общества собирателей сигарных колец (см. жур­нал «Льен», «Клуб франсэ дю ливр», май 1964 г.).

99

интимного отношения к избранному предмету, обладание связано также и с поиском, упорядочением, обыгрывани­ем и соединением вещей. Одним словом, в нем чувствует­ся аромат гарема, вся прелесть которого во взаимопроник­новении серийности и интимности (при том что один эле­мент всегда является привилегированым).

Человеку легче всего стать владельцем тайного сера­ля среди своих вещей. Отношения между людьми, осу­ществляясь в сфере уникальности и конфликтности, никогда не позволяют так тесно слить абсолютную еди­ничность и безграничную серийность; поэтому такие отношения всегда являются источником тревоги. Напро­тив того, в сфере вещей, последовательно-гомологичных элементов, можно обрести спокойствие. Разумеется, це­ной хитроумной ирреализации, абстракции и регрессии — но это неважно. «Вещь для человека, — пишет Морис Реймс, — это что-то вроде неживой собаки, принимаю­щей его ласки и на свой лад умеющей их возвращать, что-то вроде зеркала, верно являющего ему не реальный, а желанный образ» (с. 50).

### ЛУЧШЕЕ ИЗ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Собака — удачный образ: действительно, комнатные животные образуют промежуточную категорию между людьми и вещами. Собаки, кошки, птицы, черепахи или канарейки своим трогательным присутствием означают, что человек потерпел неудачу в отношениях с людьми и укрылся в нарциссическом домашнем мирке, где его субъективность может осуществляться в полном спокой­ствии. Отметим попутно, что эти животные лишены пола (нередко специально кастрированы для жизни в доме), — подобно вещам, они бесполые, хотя и живые, именно та­кой ценой они могут стать аффективно успокоительными; лишь ценой собственной кастрации, реальной или символической, они способны играть для своего владель­ца регулятивную роль в отношении страха кастрации — ту роль, которая в высшей степени присуща и всем окружаю-

100

щим нас вещам. Ибо вещь — это безупречное домашнее животное. Это единственное «существо», чьи достоинства возвышают, а не ограничивают мою личность. В своей множественности вещи образуют единственный разряд существующих объектов, которые действительно могут сосуществовать друге другом, не ополчаясь друг на дру­га своими взаимными различиями, как живые существа, а сходясь покорно к средостению моей личности и без труда слагаясь вместе в моем сознании. Вещь лучше, чем что-либо другое, поддается «персонализации», а вместе с тем и количественному пересчету; и эта субъек­тивная бухгалтерия не знает исключений, в ней все мо­жет стать предметом обладания и психической нагруз­ки или же, при коллекционерстве, предметом расста­новки, классификации, распределения. Таким образом, вещь в буквальном смысле превращается в зеркало: от­ражаемые в нем образы могут лишь сменять друг друга, не вступая в противоречие. Причем это безупречное зеркало, так как отражается в нем не реальный, а же­ланный образ. Одним словом, собака, от которой оста­лась одна лишь верность. Я могу смотреть на нее, а она на меня не смотрит. *Вот почему вещи получают всю ту нагрузку, что не удалось поместить в отношения с людь­ми.* Вот почему человек столь охотно идет на регрессию, «отрешаясь» от мира в своих вещах. Не будем, однако, обманываться этой отрешенностью, породившей целую сентиментальную литературу о неодушевленных пред­метах. Эта отрешенность есть регрессия, эта страсть есть страсть к бегству. Конечно, вещи играют регуля­тивную роль в повседневной жизни, они разряжают немало неврозов, поглощают немало напряжения и энергии скорби; именно это придает им «душу», имен­но это делает их «своими», но это же и превращает их в декорацию живучей мифологии — идеальную декора­цию невротического равновесия.

101

### СЕРИЙНАЯ ИГРА

Но ведь такое опосредование очень скудно — как же человеческое сознание ему поддается? Здесь сказывается вся хитрость нашей субъективности: обладаемый предмет никогда не бывает скудным опосредованием, он всегда наделен абсолютной единичностью. Это происходит не на уровне фактов: разумеется, обладать «редкой», «уни­кальной» вещью составляет идеальную цель собиратель­ства, но, с одной стороны, в реальном мире никогда не докажешь уникальность того или иного предмета, а с дру­гой стороны, наша субъективность прекрасно обходится и без нее. Специфическое качество вещи, ее меновая сто­имость возникают в социокультурной сфере; напротив, абсолютная единичность появляется в ней оттого, что она обладаема мною, - а это позволяет мне и себя самого опознавать в ней как существо абсолютно единичное. Та­кова величественная тавтология, которая делает наше от­ношение к вещам столь насыщенным, столь примитивно легким, столь иллюзорно, зато интенсивно вознаг­раждающим1. Более того — эта замкнутая цепь может регулировать (хоть и не так легко) и наши отношения с людьми: здесь удается то, что не удается на уровне интер­субъективном. Вещь никогда не противится повторению одного и того же процесса нарциссической самопроек­ции на бесконечное множество других вещей; она его даже требует, содействуя тем самым созданию целостной об­становки, тотализации самопредставлений человека; а в этом как раз и заключается волшебство коллекции. Ибо человек всегда коллекционирует сам себя.

Нам становится теперь яснее структура системы обла­дания. Коллекция создается из череды элементов, но ее последним членом служит личность самого коллекционе-

1 Но отсюда же и неудовлетворенность, связанная с тавтологичностью всей системы.

102

pa. И обратно, эта личность образуется как таковая лишь в процессе последовательной самоподстановки в каждый из предметов коллекции. В плане социологическом сходная структура еще встретится нам в системе модели и серии. В обоих случаях мы констатируем, что серийность или кол­лекция суть основополагающие предпосылки обладания вещью, то есть взаимоинтеграции предмета и личности1.

### ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ: УНИКАЛЬНАЯ ВЕЩЬ

Такую гипотезу можно, казалось бы, оспорить, напомнив о страстной привязанности любителя именно к тому или иному конкретному предмету. Однако ясно, что этот уникальный пред­мет как раз и является тем конечным элементом, который ре­зюмирует собой целую категорию вещей, привилегированным членом парадигмы (возможно, лишь виртуальной, стертой или подразумеваемой) — одним словом, эмблемой серии.

Лабрюйер, иллюстрируя в своих портретах любопытство как страсть, изображает, в частности, коллекционера эстам­пов: «Я глубоко опечален, — говорит этот человек. — Бо­юсь, что вообще перестану собирать эстампы. Понимаете ли, у меня полный Калло, за исключением одного-единственного эстампа; правда, он не из лучших, скорее даже из наименее примечательных, но только его мне и недостает для полного собрания. Я уже двадцать лет охочусь за ним и вот теперь утратил всякую надежду найти его: это очень

1 Серия почти всегда представляет собой своеобразную игру, когда один из элементов можно выделить и рассматривать как модель. Мальчик бросает на землю металлические крышки от бутылок: какая из них упадет лицом вверх? Совсем не случайно, что в конечном счете ею оказывается одна и та же, — просто он на ней остановил свой выбор. Он сам является и этой моде­лью, и всей придуманной им иерархией; он отождествляет себя не с одной из крышек, а с тем фактом, что она непременно выигрывает. Но он присутству­ет и во всех остальных как в немаркированных членах оппозиции; кидая их одну за другой, он разыгрывает свое развертывание в серию, а тем самым превращает себя в модель — в ту, что выигрывает. Этим иллюстрируется и психология коллекционера — коллекционируя те или иные избранные пред­меты, он всякий раз сам выступает как предмет у них во главе.

103

тяжко»1. Здесь с арифметической ясностью видно, что целая серия минус один элемент переживается как равноценная од­ному недостающему последнему члену2. В этом элементе сим­волически резюмируется вся серия; без него она — ничто; в результате он обретает по отношению ко всей количествен­ной последовательности странное качество квинтэссенции. Это уникальный предмет, специфичный в силу своего конеч­ного положения, и тем самым он дает иллюзию какой-то ко­нечной цели. Собственно, так оно и есть, но мы видим, что к своей качественности он все время идет через количественность и что ценность, сконцентрированная в этом единствен­ном означающем, фактически совпадает с той, что циркули­рует по всей цепи промежуточных означающих парадигмы. Это можно было бы назвать символизмом вещи (в этимоло­гическом смысле слова symbolein)3, когда целая цепь значе­ний содержится в одном-единственном своем звене. Вещь служит символом не какой-либо внешней инстанции или ценности, но прежде всего целой серии вещей, членом кото­рой сама является (а также и символом личности, которой она принадлежит).

На примере из Лабрюйера прослеживается и еще одно пра­вило, а именно что вещь обретает свою ценность лишь в свое отсутствие. Дело тут не просто в эффекте неудовлетворенного желания. *Вопрос в том, создается ли вообще коллекция для того, чтобы стать завершенной,* и не играют ли в ней основополага­ющую роль лакуны — роль позитивную, ибо именно в лакунах субъект и обретает себя объективно; появление конечного чле­на серии означало бы, по сути, смерть субъекта, отсутствие же его позволяет субъекту лишь играть в свою смерть, изображая ее как вещь, а тем самым заклиная. Подобная лакуна пережи­вается как страдание, но именно она и позволяет избежать окончательного завершения коллекции, что значило бы окон­чательное устранение реальности. Таким образом, можно лишь

1 *Ж. де Лабрюйер.* Характеры, или Нравы нынешнего века. М.-Л., 1964. С. 314. — *Прим. перев.*

2При этом таким последним членом может оказаться любой элемент серии: любая гравюра Калло может стать той самой, без которой у меня не будет «полного Калло».

3 Служить опознавательным знаком *(греч.).* — *Прим. перев.*

104

порадоваться за лабрюйеровского коллекционера, не нашед­шего своего последнего Калло, — ведь, отыскав его, он сам перестал бы быть тем, вообще-то, живым и страстным челове­ком, каким он пока что является. Собственно, безумие начи­нается как раз тогда, когда коллекция замыкается и теряет ори­ентацию на этот недостающий член.

О том же, видимо, говорит и другой случай, приведенный у Мориса Реймса. Некий библиофил, собиратель уникальных экземпляров, как-то узнал, что нью-йоркский книготорговец выставляет на аукцион экземпляр идентичный одному из тех, которыми он владеет. Он срывается с места, приобретает эту книгу, затем приглашает судебного пристава и сжигает второй экземпляр в его присутствии, дабы тот составил протокол об этом уничтожении. Вложив документ в свой собственный том, который вновь сделался уникальным, он, ублаготворенный, идет спать. Происходит ли здесь борьба с серийностью? Толь­ко на первый взгляд; фактически уникальный экземпляр зак­лючал в себе ценность всех других возможных экземпляров, и, уничтожив второй, библиофил лишь восстановил подорван­ное было совершенство символа. Будучи отрицаема, предава­ема забвению, разрушаема, оставаясь лишь виртуальной, се­рийность все равно никуда не девается. В ничтожнейшем оби­ходном предмете, равно как и в недоступнейшем раритете, она питает собой чувство собственности и игру страсти. Без нее игра была бы невозможна, а значит, не было бы и обладания; собственно говоря, не было бы и самой вещи. Вещь в полном смысле уникальная, абсолютная, не исходящая из какой-либо модели и не размноженная в какой-либо серии, просто немыс­лима. Она так же не существует, как и чистый звук. И подобно тому как звуки обретают свой реальный тембр через серии обертонов, так и вещи обретают свою символичность через более или менее сложные парадигматические серии, соотно­сясь тем самым с человеком в поле господства и игры.

### ВЕЩИ И ПРИВЫЧКИ: ЧАСЫ

Каждая вещь располагается на полпути между практи­ческой специфичностью (функцией), составляющей как бы ее явный дискурс, и поглощенностью в некоторой серии/

105

коллекции, где она становится элементом дискурса скры­того, повторяющегося, наиболее элементарного и наиболее устойчивого из всех. Такая дискурсивная система вещей го­мологична системе привычек1.

Привычка есть нечто дискретно-повторяющееся (хотя в семантике слова и содержится идея непрерывности). Выч­леняя в течении времени «привычные» нам схемы, мы раз­ряжаем потенциал страха, таящийся в его непрерывности и в абсолютной единичности его событий. Точно так же и вещь, включаясь в дискретную серию, попадает в наше рас­поряжение, в наше владение. Это и есть дискурс субъектив­ности, в котором вещи составляют особо отмеченный ре­гистр, — своей дискретностью, классифицируемостью, об­ратимостью, неограниченной повторяемостью они ставят защитный экран между нами и необратимым становлением мира, выгораживают в мире некоторую зону, которая нам принадлежит, покорна нашей руке и нашему уму, а тем са­мым и утоляет наши страхи. Вещи не только помогают нам совладать с миром, образуя орудийные серии, они еще и помогают нам, *образуя серии психические,* совладать со вре­менем, делая его дискретным и классифицируемым, как это делают наши привычки, вводя время в рамки тех же ассо­циативных императивов, которыми регулируется расстанов­ка вещей в пространстве.

Хорошим примером такой дискретно-«привычной» фун­кции являются наручные часы2. В них воплощена двойствен­ность нашего переживания вещей. С одной стороны, часы

1 Сама вещь непосредственно составляет основу целой сети привы­чек, служит центром кристаллизации поведенческих стереотипов. И об­ратно: нет. пожалуй, такой привычки, которая не образовывалась бы вокруг какой-то вещи. Вещи и привычки в повседневном быту неиз­бежно определяют друг друга.

2С другой стороны, они свидетельствуют (вспомним об исчезновении больших комнатных часов) о необратимой тенденции современных вещей к миниатюризации и индивидуализации.

Сверх того, наручные или карманные часы представляют собой самый старинный, самый маленький, самый близкий к нам и самый дорого­стоящий из механизмов индивидуального пользования. Это интимный ме­ханический талисман, сильно нагруженный психически, предмет повсед­невной сопричастности, фасцинации (у детей) и зависти.

106

показывают нам объективное время, а в точной измеримости времени как раз и проявляется наша практическая ограничен­ность внешним миром и смертью. Но вместе с тем, подчиняя нас необратимой темпоральности, часы как вещь помогают нам и осваивать время. Как автомобиль «пожирает» километ­ры, так и часы-вещь пожирают время1. Субстантивируя его и разбивая на отрезки, часы превращают его в потребляемый продукт. В нем больше нет опасного практического измере­ния — осталась лишь чистая прирученная количественность. Не просто знать, который час, но и «обладать» им через по­средство принадлежащей тебе вещи, постоянно держать его под рукой в зарегистрированном виде, — все это сделалось важ­нейшей потребностью цивилизованного человека, это дает ему чувство защищенности. В доме времени больше не стало, оно больше не стучит в сердце комнатных часов, зато оно по-пре­жнему регистрируется в часах наручных, доставляя нам орга­ническое удовлетворение, словно регулярное действие како­го-нибудь внутреннего органа. Через посредство часов время запечатлевается как то измерение, в котором я объективиру­юсь, и вместе с тем как мое домашнее имущество. Да и вообще любая вещь может быть проанализирована сходным образом — с точки зрения того, как мы присваиваем себе то самое из­мерение, где находим свою объективную ограниченность; про­сто часы, непосредственно соотносясь со временем, составля­ют тут наиболее четкий пример.

### ВЕЩЬ И ВРЕМЯ: УПРАВЛЯЕМЫЙ ЦИКЛ

Проблемы времени имеют важнейшее значение в коллекционерстве. «Страсть к коллекционированию, — пи­шет Морис Реймс, — часто сопровождается таким явлени­ем, как утрата чувства нынешнего времени» (с. 42). Но толь­ко ли ностальгическое бегство здесь происходит? Разумеет­ся, человек, отождествляющий себя с Людовиком XVI вплоть до формы ножек своих кресел или же страстно влюб-

1 Вместо скорости в пространстве ее эквивалентом выступает здесь точ­ность: время следует пожирать минута в минуту.

107

ленный в табакерки XVI века, отделяет себя от настоящего и обращается к истории. Но такое обращение играет второ­степенную роль по сравнению с переживанием коллекции как системы. Действительно, глубинная сила предметов кол­лекции возникает не от историчности каждой из них по от­дельности, и время коллекции не этим отличается от реаль­ного времени, *но тем, что сама организация коллекции под­меняет собой время.* Вероятно, в этом и заключается главная функция коллекции — переключить реальное вре­мя в план некоей систематики. Вкус, любознательность, престиж, социальный дискурс способны дать коллекции выход в широкий комплекс человеческих отношений (вся­кий раз, однако, в пределах узкого круга), но все же преж­де всего она является в буквальном смысле «времяпрепро­вождением». Она попросту отменяет время. Или, вернее, систематизируя время в форме фиксированных, допуска­ющих возвратное движение элементов, коллекция являет собой вечное возобновление одного и того же управляе­мого цикла, где человеку гарантируется возможность в любой момент, начиная с любого элемента и в точной уве­ренности, что к нему можно будет вернуться назад, поиг­рать в свое рождение и смерть.

Именно поэтому окруженность и обладание предмета­ми частного быта — крайним случаем каковых является коллекционерство — суть столь же необходимое, сколь и нереальное измерение нашей жизни; они столь же необхо­димы, как сновидения. Говорят, что если бы можно было в порядке эксперимента помешать кому-либо видеть сны, то от этого очень быстро возникли бы тяжелые психические расстройства. Несомненно и то, что если бы можно было отнять у кого-либо такое регрессивное бегство через игру обладания, не дать ему обращать к себе самому свой соб­ственный управляемый дискурс, раскладывать себя по клет­кам парадигмы вещей, то расстройство последовало бы столь же неотвратимо. Мы не можем жить в абсолютной единич­ности, в той необратимости, знаком которой является мо­мент рождения. Отрешиться от этой необратимости, устрем­ленной от рождения к смерти, помогают нам вещи.

108

Разумеется, подобное равновесие невротично, подобное средство от страха регрессивно — ведь объективно время все-таки необратимо, и оно увлекает за собой даже сами вещи, что призваны защищать нас от него; разумеется, подобный дискрет­ный механизм самозащиты вещами сам постоянно оказывает­ся под угрозой, поскольку мир и люди континуальны. Но воз­можно ли здесь говорить о нормальности или аномалии? Укрытость в замкнутой синхронии можно считать отрицанием реальности и бегством от нее, имея в виду, что вещь получает ту психическую нагрузку, которую «должны были» взять на себя отношения с людьми, — но именно такой ценой вещи и полу­чают свою огромную регулятивную силу. Ныне, когда исчезают религиозные и идеологические инстанции, нашим единствен­ным утешением остаются вещи; это бытовая мифология, в ко­торой гасится наш страх времени и смерти.

Не будем здесь касаться стихийной мифологии, соглас­но которой человек продолжается, переживает сам себя в *своих* вещах. Процесс укрывания заключается не в том, что мы обретаем бессмертие, вечность, посмертную жизнь в *отражающей нас вещи* (в глубине души человек никогда в это и не верил), а в более сложной игре, обеспечивающей «вторичную утилизацию» рождения и смерти в *системе ве­щей.* Вещи дают человеку уверенность не в посмертной жиз­ни, а в том, что он *уже теперь постоянно и циклически-кон­тролируемо переживает процесс своего существования, а тем самым символически преодолевает это реальное существова­ние, неподвластное ему в своей необратимой событийности.*

Мы здесь близко подходим к фрейдовскому примеру с мальчиком, который то прячет, то вновь показывает игруш­ку, попеременно переживая отсутствие и присутствие мате­ри (fort-da, fort-da), отвечая на страх разлуки бесконечным возобновлением цикла с игрушкой. Здесь хорошо видно, ка­ковы символические последствия серийной игры, и можно даже сделать общий вывод, что вещь — это *то, о чем мы скор­бим;* она представляет нам нашу собственную смерть, но символически преодоленную самим фактом того, что мы ею владеем, что страх перед реальным событием разлуки и смерти разряжается, будучи интроецирован и переработан в нашей

109

скорби, то есть включен в серию, где «работают», вновь и вновь циклически разыгрываются отсутствие вещи и ее но­вое появление. Благодаря вещам мы уже сейчас, в своей по­вседневной жизни проделываем эту работу скорби по себе самим, и это позволяет нам жить — пусть и регрессивно, но все-таки жить. Человек, собирающий коллекцию, умер, но он в буквальном смысле переживает себя в своей коллекции, еще при жизни бесконечно повторяясь в ней по ту сторону смерти, *вводя даже самое смерть в рамки серии и цикла.* Здесь можно вновь провести аналогию со снами: каждая вещь по своей функции (практической, культурной, социальной) опосредует собой некоторое *пожелание* (vœu), в качестве же одного из элементов в описанной выше систематической игре она служит еще и показателем некоторого *желания* (désir). Последнее как раз и дает толчок бесконечному самоповторе­нию или самоподстановке в ряду означающих, сквозь смерть и по ту сторону смерти. И подобно тому как сновидения обес­печивают непрерывность сна — в силу сходного компромис­са и вещи обеспечивают непрерывность жизни1.

### ТАИМАЯ ВЕЩЬ: РЕВНОСТЬ

В итоге своего регрессивного развития страсть к вещам выливается в чистую ревность, когда владельца вещи наи­более глубоко удовлетворяет та ценность, которую эта вещь

1 То, что коллекционерство есть игра со смертью (страсть) и в этом смысле символически сильнее самой смерти, можно проиллюстрировать забавной историей из Тристана Бернара. Некий человек коллекциони­ровал своих сыновей: законных и незаконных, от первого и второго бра­ка, приемыша, найденыша, бастарда и т.д. Как-то раз он собрал их всех на пир, и тут один циничный друг сказал ему: «Одного сына не хватает». «Ка­кого же?» — тревожно всполошился тот. — «Рожденного посмертно». И тогда коллекционер, повинуясь своей страсти, зачал с женой нового ре­бенка и покончил самоубийством.

Та же самая система в чистом виде, в отсутствие конкретной темати­ки, обнаруживается и в азартной игре, которая поэтому оказывает на лю­дей еще более сильное завораживающее действие. Игра знаменует собой чистую посмертность, в ней чистая субъективность нагружает чистую се­рийность своим воображаемым господством, достоверно зная, что при лю­бых превратностях игры в ней никому не дано восстановить реальные ус­ловия жизни и смерти.

l10

могла бы иметь для других и которой он их лишает. Таким комплексом ревности, типичным для коллекционерского фанатизма, регулируется также, с известными оговорками, и обычный рефлекс собственника. Здесь действует мощ­ная схема анального садизма, заставляющая утаивать кра­соту и наслаждаться ею в одиночестве; подобное сексуаль­но перверсивное поведение широко сказывается и в отно­шении к вещам.

Что представляет собой таимая вещь? (Ее объективная ценность вторична, свою прелесть она обретает оттого, что ее таят.) Человек никому не одалживает свою машину, авто­ручку, жену, ибо для его ревнивого чувства данные предме­ты суть нарциссические эквиваленты его «я»; если такой предмет окажется утерян или поврежден, то это означает кастрацию. Нельзя одолжить другому свой фаллос — вот в чем здесь дело. В образе вещи ревнивец таит, держит побли­же к себе свое собственное либидо, пытаясь заклясть его в системе сокрытия — той же самой системе, благодаря кото­рой в коллекционерстве разряжается страх смерти. В страхе за свою сексуальность ревнивец кастрирует сам себя, или, вернее, с помощью символической кастрации — секвестра­ции — он предупреждает страх перед кастрацией реальной1. Эти отчаянные потуги и порождают гадкое наслаждение рев­нивца. Человек всегда ревнует сам себя, себя он оберегает и стережет, собою он наслаждается.

Очевидно, что такое ревнивое наслаждение переживает­ся на фоне абсолютного разочарования, ибо в систематичес­кой регрессии никогда не пропадает до конца сознание ре­ального мира и обреченности подобных попыток. Так же про­исходит и с коллекцией: ее суверенность неустойчива, за нею проступает непрестанно угрожающая суверенность реально­го мира. Но даже само это разочарование включается в сис­тему. Именно оно, вкупе с удовлетворением, и приводит ее в действие, всякий раз отсылая субъекта не к реальному миру, а к следующему элементу системы, то есть разочарование и

1 Это, само собой, касается и «комнатных животных», вообще «пред­мета» всякого сексуального отношения, с которым в случае ревности об­ращаются примерно так же.

l1l

удовлетворение чередуются в рамках цикла. Такое конститу­тивное разочарование порой принимает невротическую фор­му, и система начинает работать вразнос. Оборот серийного цикла все ускоряется, различия между элементами стирают­ся, а механизм подстановки действует все быстрее. И тогда система способна дойти до разрушения — до саморазруше­ния субъекта. М.Реймс приводит примеры такого насиль­ственного «умерщвления» коллекций — это своего рода са­моубийство от невозможности положить предел смерти. Так и в системе ревности нередко случается, что субъект в конце концов уничтожает таимую им вещь или человека, чувствуя невозможность до конца заклясть враждебную силу мира и своей собственной сексуальности. Таков логический и иллогический финал его страсти1.

### ДЕСТРУКТУРИРУЕМАЯ ВЕЩЬ: ПЕРВЕРСИЯ

Эффективность такой системы обладания прямо связа­на с ее регрессивностью. А регрессивность связана с ее перверсивным модусом. Хотя наиболее четко, в наиболее кри­сталлизованной своей форме перверсия по отношению к вещам проявляется в фетишизме, мы вполне можем разгля­деть, что и во всех частях системы, организуясь согласно одним и тем же целям и модусам, обладание/страсть к ве­щам представляет собой, так сказать, *смягченный модус сек­суальной перверсии.* Действительно, подобно тому как в об­ладании разыгрываются дискретность серии (реальной или виртуальной) и выбор одного привилегированного элемен­та, так же и сексуальная перверсия состоит в том, что дру­гой человек как объект желания не может быть понят в сво­ей целостно-личностной единичности, а лишь как нечто дискретное; он превращается в парадигму различных эро-

1 Разочарование как внутреннюю движущую силу регрессивной сис­темы и серийности не следует путать с нехваткой, о которой говорилось выше, — то был, напротив, фактор выхода за рамки системы. При разоча­ровании субъект продолжает инволюцию внутри системы, при нехватке осуществляет эволюцию (относительную) к миру.

112

тических частей своего тела, одна из которых оказывается объектным кристаллизатором желания. Эта женщина — уже не женщина, а лоно, грудь, живот, бедра, голос или лицо, что-то одно в особенности1. Тем самым она становится «предметом», образуя серию, элементы которой перебира­ются желанием, а означаемым серии реально является уже вовсе не любимый человек как личность, а сам же субъект в своей нарциссической субъективности, коллекционирующий-эротизирующий сам себя и делающий из любовных от­ношений самонаправленный дискурс.

Это неплохо иллюстрирует собой вступительная сцена фильма Ж.-Л.Годара «Презрение», где на фоне кадров «об­наженной натуры» происходит следующий диалог:

— Ты любишь мои ступни? — спрашивает она. (Заметим, что на протяжении всей сцены она разглядывает себя в зер­кале, и это немаловажно: через свое отражение она сама себя расценивает как зрелище, то есть нечто уже обладающее пространственной дискретностью.)

— Да, люблю.

— Ты любишь мои ноги?

— Да.

— А мои бедра?

— Да, — говорит он опять, — я их люблю. (И так далее снизу вверх, вплоть до волос.)

— Значит, ты любишь меня целиком.

— Да, я люблю тебя целиком.

— Я тоже, Поль, — говорит она, резюмируя всю ситуацию.

Возможно, авторы фильма усматривали в этом здоровую алгебраичность демистифицированной любви. Однако такое абсурдное воссоздание желания по частям есть нечто в выс­шей степени чуждое человеку. Распадаясь на серию своих телесных частей и превращаясь в чистый предмет, женщина далее и сама включается в серию всех прочих женщин-

1 В пределе это могут быть волосы, ступни ног, а если регрессия зайдет еще дальше, то и фетишистская кристаллизация детализации и без­личности предельно далеко от живого человека, в подвязке или бюст­гальтере; перед нами вновь материальная вещь, для обладания которой характерна полная устраненность чужого присутствия.

113

предметов, по отношению к которой она лишь один элемент из многих. Согласно логике такой системы возможна лишь одна деятельность — игра подстановок. Именно это мы и и отмечали как источник коллекционерского удовольствия.

При любовных отношениях такое раздробление предмета на детали в аутоэротической системе перверсии тормозится живой целостностью другого человека1. Зато в отношении материальных вещей оно является правилом, особенно когда речь идет о достаточно сложных механизмах, поддающихся мысленной разборке. Например, об автомобиле можно ска­зать *«мои* тормоза», *«мое* крыло», *«мой* руль». Говорят «я тор­можу», «я сворачиваю», «я трогаюсь». В плане обладания все органы, все функции вещи могут быть по отдельности соотне­сены с нашей личностью. Здесь имеет место не персонализа­ция на социальном уровне, а процесс проективного характера — то, что характеризуется глаголом «быть», а не «иметь». При­менительно к лошади такое смешение было бы невозможно, хоть она и явилась для человека необычайно мощным сред­ством превзойти себя. Дело в том, что лошадь не собрана из отдельных деталей, а главное, она обладает полом. Можно ска­зать «моя лошадь» или «моя жена», но на этом именование та­кого рода собственности прекращается. Все, что обладает по­лом, противится проективному раздроблению, а стало быть, и тому способу освоения, который мы охарактеризовали как аутоэротическую страсть и, в предельном случае, как первер­сию2. По отношению к живому существу еще можно сказать *мое,* но уже нельзя сказать я, как это говорят об автомашине, символически присваивая себе ее функции и органы. Регрес­сия здесь не безгранична. Лошадь может получать очень силь­ную психическую нагрузку (такими мотивами, как скачка по-

' Потому-то в подобном случае страсть и обращается на фетиш, где живой сексуальный объект радикально упрощен до некоторой вещи, эк­вивалентной пенису и осмысляемой как таковая.

2В этом смысле собственническое самоотождествление с живым су­ществом срабатывает постольку, поскольку последнее воспринимается как бесполое — например, маленький ребенок. «Что, «у нас» головка болит?» — говорят младенцу. Или даже так: «Ах, «у меня» головка болит!» По от­ношению к существу, обладающему полом, такое отождествляющее сме­шение блокируется страхом кастрации.

114

левого сношения или мудрость Кентавра: его лицо — пугаю­щий фантазм, связанный с образом отца, а в его спокойствии — также и ограждающая сила Хирона-воспитателя) — но эта нагрузка никогда не бывает упрощенно-нарциссической, не принимает форму обедненно-инфантилизированной само­проекции в ту или иную структурную деталь автомобиля (по аналогии и едва ли не по смешению с разъятыми составными частями и функциями человеческого тела). Лошадь обладает символической динамикой лишь постольку, поскольку невоз­можно отождествить себя с ее частными функциями и органа­ми, а значит и исчерпать отношения с нею в аутоэротическом «дискурсе», имеющем дело с разрозненными членами.

Подобная фрагментация и регрессия предполагают и особую технику, технику автономизации частичного объек­та. Так, женщина, распавшись на синтагму различных эрогенных зон, обречена на чистую функциональность на­слаждения, которой и соответствует некоторая эротическая техника. Это объективирующе-ритуализирующая техника, маскирующая страх личностного отношения, а также даю­щая субъекту реальное (жестуальное, действенное) алиби и внутри самой фантазматической системы перверсии. Дей­ствительно, всякая психическая система нуждается в каком-то «обеспечении», в какой-то связи с реальностью, в каком-то техническом «обосновании», то есть алиби. В этом смыс­ле акселератор в выражении «я даю газ», или же фара в выражении «моя фара», или же весь автомобиль в выраже­нии «моя машина» служат реально-технической опорой для нарциссического обращения вспять психических импульсов, которым не дают дойти до реальности. То же самое происхо­дит и в эротической технике, которая признает себя таковой: благодаря ей мы из генитальной сферы, где возникает реаль­ность и удовольствие, попадаем на уровень регрессивно-анальной серийной систематики, для которой эротическая жестуальность представляет собой лишь алиби.

Как мы видим, техника отнюдь не всегда бывает «объек­тивной». Она объективна тогда, когда она социализирова­на, включена в технологию и формирует новые структуры. Напротив, в бытовой сфере она всякий раз оказывается удоб­ным полем для регрессивных фантазмов, потому что в ней все­гда заложена некоторая возможность деструктурации. Будучи

115

собраны и смонтированы вместе, детали технического пред­мета обладают связной логикой. Но в нашем сознании такая структура страдает нестойкостью: своей функцией она связа­на с внешним миром, и для нашей души она формальна. Струк­турно иерархизированные элементы могут в любой момент распасться и сделаться эквивалентными друг другу в парадиг­матической системе, где субъект развертывает сам себя. Вещь изначально дискретна и легко дисконтинуализируется мыс­лью — тем более легко, что вещь (особенно техническое изде­лие) уже не связана, как прежде, с человеческой жестуальностью и энергией. Автомобиль потому и представляет собой, в сравнении с лошадью, такой прекрасный предмет нарцисси­ческой манипуляции, что для управления лошадью необходи­мы мускульные движения, жестуальность равновесия, — тог­да как управление машиной, напротив, является упрощенным, функциональным и абстрактным.

### ОТ СЕРИЙНОЙ МОТИВАЦИИ К МОТИВАЦИИ РЕАЛЬНОЙ

На протяжении всего нашего анализа мы пренебрегали са­мой природой коллекционируемых вещей; занимаясь их систематикой, мы не принимали во внимание их тематику. Меж­ду тем очевидно, что картины мастеров коллекционируются иначе, чем сигарные кольца. Прежде всего, коллекционирова­ние (от colligere — выбирать и собирать) — это не просто накопительство. Низшую стадию образует накопление субстан­ций: старых бумаг, продуктов, — лежащее на полпути между оральной интроекцией и анальной задержкой; далее идет се­рийное накопление одинаковых предметов. Коллекция нахо­дится уже в области культуры; она ориентирована на предметы дифференцированные, зачастую обладающие меновой стоимо­стью и составляющие «предмет» хранения, торговли, социаль­ного ритуала, демонстрации, — бывает, даже источник дохода. В них объект сопровождается проектом. Не переставая отсы­лать друг к другу, они вовлекают в эту игру внешнюю социальную действительность, человеческие отношения.

Однако даже и там, где сильна внешняя мотивация, коллек­ция всегда остается подвластна внутренней систематике, обра-

116

зуя в лучшем случае компромисс между той и другой; даже если дискурс коллекции обращается к людям, прежде всего он все-таки обращен к самому субъекту. В нем везде четко просле­живается серийная мотивация. Как показывают социологиче­ские опросы, покупатели книжных серий («10/18», «Что я знаю?»), однажды втянувшись в собирание данной серии, про­должают покупать даже те ее тома, которые им неинтересны: внутреннее различие в рамках серии уже само по себе создает достаточный формальный интерес, заменяя интерес реальный. Мотивация покупки происходит по чисто ассоциативному пра­вилу. Сходным образом ведет себя и тот читатель, которому чте­ние доставляет удовольствие лишь тогда, когда вокруг рас­ставлены все его книги; при этом неповторимость данной кон­кретной книги стремится к исчезновению. Собственно, значимой становится уже не столько сама книга, сколько мо­мент ее помещения в общий ряд на библиотечной полке. И об­ратно, покупателю той или иной книжной серии, однажды «от­ставши» от нее, очень трудно включиться снова — он уже не покупает даже те тома, что представляют для него реальный ин­терес. Этих наблюдений достаточно для четкого разграничения двух разных мотиваций, взаимно исключающих друг друга и уживающихся вместе лишь в порядке компромисса, причем серийная мотивация по инерции явно имеет тенденцию преоб­ладать над диалектической мотивацией интереса1.

Но и чистое коллекционерство может иметь выход на реальные интересы. Человек, поначалу покупавший систе­матически все выпуски серии «Что я знаю?», в дальнейшем

1 Такое разграничение серийного удовлетворения и собственно удо­вольствия очень существенно. Во втором случае перед нами как бы удо­вольствие от удовольствия, где удовлетворение превосходит само себя и утверждается как отношение к чему-то или кому-то. В серийном же удов­летворении это «что-то» или «кто-то», второй член, благодаря которому удовольствие и обретает свое качество, — исчезает, отсутствует, не получает удовлетворения; в результате удовлетворение отбрасывается в серийную че­реду, проецируя вширь необретенную целостность и компенсируя ее повто­рением одного и того же. Вот почему люди, однажды перестав читать поку­паемые ими книги, покупают их все больше и больше. И потому же много­кратное повторение полового акта или же смена партнеров бесконечно компенсируют собой исчерпанность любовных открытий. Удовольствие от удовольствия ушло — остается удовлетворение. Одно исключает другое.

l17

часто начинает ориентировать свое собрание на какую-то оп­ределенную тематику — скажем, музыку или социологию. На известном количественном уровне накопления становится возможной избирательность. Однако здесь нет какого-то аб­солютного правила. С одной стороны, *можно с* одинаковым регрессивным фанатизмом коллекционировать картины ма­стеров и этикетки от камамбера, а с другой стороны, у детей коллекции марок постоянно служат источником обмена. Та­ким образом, из тематической сложности той или иной кол­лекции никогда не следует с необходимостью ее открытость в реальный мир. Самое большее, такая сложность может слу­жить ее признаком или приметой.

Коллекция вырывается из рамок чистого накопительства либо в силу своей культурной сложности, либо в силу своей неполноты, незавершенности. Действительно, всякая не­хватка содержит в себе определенный императив — импе­ратив найти тот или иной недостающий предмет. И такой императив, будучи осмыслен как поиски, страстное стрем­ление, послание к другим людям1, сам по себе уже разруша­ет смертельные чары коллекции, где субъект гибнет в чис­той фасцинации. Неплохой иллюстрацией может служить телепередача, где каждый коллекционер, представляя пуб­лике свое собрание, упоминал при этом некую вполне оп­ределенную «вещь», которой ему недостает, тем самым при­глашая всех помочь ее добыть. Вещь, стало быть, способна дать начало социальному дискурсу. Но одновременно сле­дует и признать очевидное: *это способна сделать не столько наличествующая, сколько отсутствующая вещь.*

### САМОНАПРАВЛЕННЫЙ ДИСКУРС

Итак, для коллекции все же характерен, в тот или иной момент, разрыв с инволютивной системой и обращение к не­которому проекту или императиву (престижному, культурно­му, коммерческому — неважно, главное, вещь рано или по-

1 Однако даже и в этом случае другие люди нужны коллекционеру лишь как свидетели его коллекции, и в уже сложившиеся отношения между субъектом и объектом они включаются лишь на правах третьего.

l18

здно ставит человека лицом к лицу с другим человеком, то есть становится посланием). И все же сколь бы открытой ни была коллекция, в ней всегда есть некая неистребимая не­соотнесенность с миром. Чувствуя себя отчужденным, как бы рассеянным в социальном дискурсе, чьи правила ему непод­властны, коллекционер пытается сам воссоздать такой дис­курс, который был бы для него прозрачен, чтобы он сам владел его означающими и сам же в конечном счете являлся его означаемым. Но его проект обречен на неудачу: пытаясь преодолеть дискурс, он не видит, что просто-напросто транс­понирует открытую дискретность вещей в закрытую дискрет­ность субъекта, где теряет всеобщую значимость даже исполь­зуемый им язык. Таким образом, попытка обрести целост­ность через вещи всегда отмечена одиночеством; она не связана с коммуникацией, и именно коммуникации в ней не хватает. Возникает, впрочем, вопрос: а способны ли вообще вещи образовать какой-то иной язык? Может ли человек че­рез их посредство утвердить какую-то иную речь, кроме са­монаправленного дискурса?

Коллекционер никогда не бывает безнадежным манья­ком — именно потому, что собирает он вещи, так или иначе всегда препятствующие ему дойти в своей регрессии до пол­ной абстракции бреда; но по той же самой причине дискурс, производимый им с помощью этих вещей, никогда не мо­жет преодолеть некоторой своей скудости и инфантильно­сти. Коллекционирование — всегда процесс, ограниченный своей повторяемостью; самый его материал — вещи — слиш­ком конкретен и дисконтинуален, чтобы сложиться в реаль­ную диалектическую структуру1. Если «тот, кто ничего не собирает, — кретин», то и в собирателе тоже всегда есть что-то убогое и нечеловеческое.

1 Иное дело, например, наука или память, которые также представля­ют собой коллекцию, но коллекцию фактов, знаний.

# С. МЕТА- И ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ГАДЖЕТЫ И РОБОТЫ

Проанализировав вещи в их объективной (расстановка и «среда») и субъективной (коллекция) систематизации, следует теперь рассмотреть поле их коннотаций, то есть их идеологического значения.

## «ТЕХНИЧЕСКАЯ» КОННОТАЦИЯ: АВТОМАТИКА

Если формальная коннотация может быть резюмирова­на понятием *моды*1,то коннотация «техническая» может быть сформулирована одним словом *автоматика* — в нем заключено основное понятие торжествующего механициз­ма и мифологический идеал современной вещи. Автомати­ка означает, что вещь в своей частной функции приобрета­ет коннотацию абсолюта2. Поэтому автоматика всюду выд­вигается и воспринимается *как модель всей техники.*

То, как через психическую схему автоматики мы неволь­но приходим к «технической» коннотации, можно проил­люстрировать примером из книги Ж.Симондона (цит. соч., с. 26). С устранением необходимости заводить автомобиль­ный мотор с помощью рукоятки механическое функциони­рование машины делается, со строго технологической точ-

1 В данном пункте отсылаем к нашему анализу риторики форм («Смыс­ловые элементы «среды»: формы»), а в плане социологическом — к главе «Модели и серии».

2 Так, в плане форм «крыло» автомобиля через наглядность своей фор­мы коннотирует абсолют скорости.

121

ки зрения, менее простым, ставится в зависимость от при­менения электроэнергии, черпаемой из внешнего по отно­шению к системе аккумулятора; то есть технически здесь имеет место усложнение, абстрагирование, но представля­ется оно как прогресс и знак современности. Автомобили с заводной рукояткой старомодны, автомобили без рукоятки — современны, поскольку они обладают коннотацией ав­томатики, фактически маскирующей их структурную сла­бость. Разумеется, можно сказать, что устранение заводной рукоятки имеет своей не менее реальной функцией удовлетворить стремлению к автоматике. Тогда и утяжеля­ющие машину хромированные украшения и гигантские крылья имеют своей целью удовлетворить императиву пре­стижа. Ясно, однако, что такие вторичные функции осуще­ствляются за счет конкретной структуры технического из­делия. В то время как и в двигателе и в очертаниях автомо­биля сохраняется множество внеструктурных элементов, его конструкторы выставляют как признак технического совер­шенства избыточное применение автоматики в разного рода аксессуарах или же систематическое использование сервоп­риводов (основной эффект которых заключается в том, что мотор становится менее надежным, более дорогим, быст­рее изнашивается и требует замены).

## «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ» ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

Итак, степень совершенства той или иной машины по­стоянно выставляется как прямо пропорциональная степе­ни ее автоматизации. Но, чтобы автоматизировать машину, приходится отказываться от многих ее рабочих возможнос­тей. Чтобы практическая вещь стала автоматической, при­ходится *делать ее стереотипной по функции* и менее надеж­ной. Автоматика сама по себе отнюдь не означает высокой техничности — наоборот, в ней всегда кроется риск техно­логического застоя; ведь в той мере, в какой вещь не авто­матизирована, она поддается переделке, включению в бо­лее широкий функциональный комплекс. Как только она

122

станет автоматической, ее функция обретет совершенство, но и закрытость, несовместимость ни с какой другой. Та­ким образом, автоматизация — это определенная замкну­тость, функциональное излишество, выталкивающее чело­века в положение безответственного зрителя. Перед нами — мечта о всецело покоренном мире, о формально безуп­речной технике, обслуживающей инертно-мечтательное че­ловечество.

Современная технологическая мысль опровергает такую тенденцию: подлинное совершенство машин, повышаю­щее степень их техничности, то есть их подлинная «функ­циональность», связаны не с повышенным автоматизмом, а с наличием некоторого зазора неопределенности, что де­лает машину восприимчивой к информации извне. Высо­котехничная машина — это открытая структура, и, взятые как целое, такие открытые машины предполагают нали­чие человека, своего живого организатора и интерпрета­тора. Но если на уровне высокой технологии указанная тенденция опровергается, то на практике именно она по-прежнему ориентирует вещи в сторону опасной абстракт­ности. Автоматика здесь безраздельно господствует, и ее фасцинация так сильна именно потому, что не носит рационально-технического характера: в ней мы пережи­ваем как бы некоторое бессознательное желание, как бы *воображаемую суть предмета,* по сравнению с кото­рой его структура и конкретная функция нам достаточ­но безразличны. Ведь наше фундаментальное, постоян­ное пожелание — в том, чтобы все «работало само собой», чтобы каждая вещь, наделенная волшебным совершен­ством, выполняла предназначенную ей функцию при ми­нимальных усилиях с нашей стороны. Пользование авто­матическим изделием сулит сладостную возможность как бы по волшебству отсутствовать в его работе, видеть его, не будучи видимым самому; это удовольствие эзотеризма, обретаемое прямо в повседневном быту. Тем, что каждая автоматизированная вещь навязывает нам, и порой нео­братимо, стереотипное поведение, никак не подрывается ее непосредственный императив — изначальное стремление

123

к автоматике. Это желание предшествует объективной практике и имеет настолько глубокие корни, что связан­ный с ним миф формального совершенства создает почти материальную преграду на пути открытого структурирова­ния наших технических средств и потребностей, — а все потому, что коренится оно в самих вещах как наш собствен­ный образ1.

Поскольку автоматизированная вещь «работает сама со­бой», то она внушает нам аналогию с самодеятельным че­ловеческим индивидом, и эта фасцинация непреодолимо сильна. Мы вновь встречаемся здесь с антропоморфизмом. Раньше на орудиях труда, на мебели, на самом доме, на их устройстве и применении лежал четкий отпечаток челове­ческого образа и присутствия2. На уровне сложного техни­ческого изделия такая тесная связь расторгается, но на ее место приходит новая символика — символика уже не пер­вичных, а сверхструктурных функций; на автоматизирован­ные изделия проецируются уже не жесты, энергия, потреб­ности, телесный образ человека, но самостоятельность его сознания, его способность контроля, его индивидуальность, его понятие о себе.

Автоматика, в сущности, выступает как вещественный эквивалент такой сверхфункциональности сознания. Она тоже представляет себя как пес plus ultra вещи, как нечто запредельное ее функции, как нечто превосходящее чело­веческую личность.

В ней тоже формальной абстракцией маскируются струк­турные слабости, механизмы самозащиты, влияние внешних факторов. Таким образом, вещи тоже одержимы главной

1 Конечно, это наталкивается и на известное психологическое сопро­тивление: так, «героически» персонализированное вождение машины не может примириться с автоматическим переключением скоростей. Но по­добный «личностный» героизм обречен волей-неволей исчезнуть.

2 Это еще касается даже и механических вещей: так, автомобиль, в сво­ей функции транспортного средства, по-прежнему сохраняет в себе образ человека. В выборе своих очертаний, форм, внутреннего устройства, спо­соба движения и горючего он уже не раз отвергал те или иные структурные возможности, повинуясь морфологическим, поведенческим и психологи­ческим императивам человека.

124

мечтой человеческой субъективности — о том, чтобы сделать­ся совершенно-автономной монадой. Сегодня, избавившись от всякого наивного анимизма и от всяких слишком челове­ческих значений, вещь черпает элементы своей новой мифо­логии в своем собственном техническом существовании (на техническое изделие проецируется абсолютная формальная ав­тономия индивидуального сознания); и один из путей, по ко­торым она идет, — путь автоматизации — по-прежнему связан с коннотативным обозначением человека, его формальной сущности и его бессознательных желаний, чем неизменно, а то и непоправимо подрывается ее конкретно-структурная це­лесообразность, ее способность «изменять жизнь».

В свою очередь, человек, делая автоматизированными и многофункциональными свои вещи, вместо того чтобы стремиться к гибкому и открытому структурированию сво­ей деятельности, невольно демонстрирует тем самым, ка­кое значение получает он сам в техническом обществе — значение универсальной чудо-вещи, образцового орудия.

В этом смысле автоматика и персонализация вещей от­нюдь не противоречат друг другу. Автоматика — это про­сто мечта о персонализации, осуществленная на уровне вещи. Эта высшая, совершенная форма той несуществен­ности, той маргинальной дифференциации, через посред­ство которых функционирует персонализированное отно­шение человека к своим вещам1.

### ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ: ГАДЖЕТ

Автоматика сама по себе есть лишь отклонение в разви­тии техники, но через нее открывается целый мир функционалистского бреда — иными словами, огромное поле изделий, в которых господствуют иррациональная услож-

1  О персонализации см. ниже, в главе «Модели и серии». Помимо про­чего, автоматизация во многом обусловлена еще и мотивациями моды и расчетами производителей: достаточно даже самой мелкой дополнитель­ной автоматизации какой-нибудь вещи, чтобы сразу сделать устаревши­ми целые классы других изделий.

125

ненность, обсессивная тяга к деталям, технический эксцен­тризм и бесцельный формализм. В такой поли-, пара-, гипер-и метафункциональной зоне вещь далеко отходит от своей объективной обусловленности и всецело поглощается сфе­рой воображаемого. В автоматике иррационально проеци­ровался образ человеческого сознания, тогда как в этом «шизофункциональном» мире запечатлеваются одни лишь обсессии. По этому поводу можно было бы написать целую «патафизику» вещи — науку о воображаемых технических решениях.

Рассмотрим окружающие нас вещи с точки зрения того, что в них структурно, а что неструктурно. Что в них — тех­ническое устройство, а что — аксессуар, техническая игруш­ка, чисто формальный признак? Окажется, что неотехни­ческая среда, в которой мы живем, в высшей степени насы­щена риторикой и аллегорией. И не случайно именно барокко, с его пристрастием к аллегории, с его новым дис­курсивным индивидуализмом (избыточность форм и под­дельные материалы), с его демиургическим формализмом, — именно барокко открывает собой современную эпоху, в художественном плане сочетая в себе все мотивы и мифы технической эры, в том числе и доведенный до предела фор­мализм детали и движения.

На этом уровне техническое равновесие вещи нарушается: в ней развивается слишком много вспомогательных функций, *где вещь подчиняется уже одной лишь необходимости функци­онировать как таковой;* это предрассудок функциональности: для любого действия есть или должна быть какая-то вещь — если ее нет, ее надо выдумать. Отсюда конкурсы самоделок Лепина, когда без всяких нововведений, одним лишь комби­нированием технических стереотипов создаются вещи с чрез­вычайно специфическими и абсолютно бесполезными функ­циями. Функция, на которую они нацелены, настолько узка, что превращается в условный предлог: фактически эти вещи *субъективно* функциональны, то есть обсессиональны. К тому же приводит и обратный, «эстетический» жест, когда красота чистой механики превозносится помимо всякой функции. Действительно, для участников конкурсов Лепина очистка яиц

126

от скорлупы с помощью солнечной энергии или какая-нибудь другая столь же нелепая задача представляют собой лишь али­би для обсессиональных манипуляций и созерцаний. Эта обсессия, как, впрочем, и всякая иная, может обрести свое по­этическое достоинство, которое более или менее ощущается нами в машинах Пикабиа, механизмах Тенгли, даже в зубча­тых колесиках обыкновенных старых часов или же в вещах, чье назначение забылось, оставив по себе лишь волнующе-фасцинирующий эффект механизма. То, что ни для чего не годится, всегда может пригодиться *нам.*

### ПСЕВДОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: «ШТУКОВИНА»

Такой функционализм на холостом ходу описывается сло­вом «штуковина». Всякая «штуковина» обладает способнос­тью что-то делать. Но если машина (machine) открыто заяв­ляет о своей функции, то «штуковина» (machin) остается нео­пределенным членом функциональной парадигмы, да еще и с пренебрежительным оттенком «безымянности» и «неудобоназываемости» (аморальна та вещь, которая неизвестно для чего служит). И тем не менее она функционирует. «Штуко­вина» — это зыбкий пробел в функциональном мире, вещь, оторванная от своей функции, в ней подразумевается размы­тая, ничем не ограниченная функциональность, то есть ско­рее психический образ воображаемой функциональности.

Невозможно как-то упорядочить все поле этой обсессивной многофункциональности: оно простирается от «вистамбуара» Марселя Эме, о котором никто ничего не знает, кроме того, что он точно для чего-то там служит, до игры в «вещь» на «Радио-Люксембург», когда тысячи слушателей бесчис­ленными вопросами подыскивают имя для какого-нибудь ничтожного предмета («нержавеющая пластинка из специ­ального сплава, установленная внутри тромбона без венти­лей и служащая для того, чтобы...», и т.д.), от домашних по­делок по выходным дням до супергаджета а-ля Джеймс Бонд; здесь перед нами развертывается целый музей волшебных принадлежностей, который в итоге выливается в грандиоз-

127

ные промышленные мощности для производства вещей и «гаджетов», бытовых «штуковин», по своей маниакальной специализации ничем не уступающих доброй старой фанта­зии домашних умельцев. Действительно, что такое машина для мытья посуды с помощью ультразвука, удаляющего грязь без соприкосновения с ней, или же тостер, допускающий де­вять разных степеней обжаренности хлеба, или же механи­ческая ложка для сбивания коктейлей? Что прежде было лишь милой причудой и индивидуальным неврозом, ныне, на се­рийно-индустриальной стадии, становится непрестанной деструктурацией бытового сознания, смятенного или же взвинченного обилием деталей.

Задумавшись о том, что именно может быть обозначено как «штуковина», впору устрашиться, как много вещей под­падают под это пустое понятие. Можно заметить, что чем больше становится этих бытовых мелочей, тем огромнее де­лается и наш дефицит понятий; наш язык далеко отстает от обновляющихся структур и сочленений тех функциональных вещей, которыми мы столь привычно пользуемся. В нашей цивилизации все больше и больше вещей и все меньше и меньше терминов для их обозначения. В то время как «ма­шина», включившись в сферу общественного труда, сдела­лась точным родовым термином (каковым она была не все­гда — еще в конце XVIII века это слово имело современный смысл «штуковины»), «штуковина» покрывает собой все то, что в силу крайней специализации, не отвечая никакому кол­лективному императиву, не поддается и наименованию, про­валиваясь в сферу мифа. «Машина» относится к системе фун­кционального «языка-кода», «штуковина» же — к субъектив­ной области «речи». Излишне объяснять, что в цивилизации, где становится все больше безымянных вещей (или же име­нуемых с трудом, посредством неологизмов и перифраз), люди гораздо менее устойчивы против мифологии, чем в та­кой цивилизации, где все вещи знакомы и наименованы вплоть до своих деталей. По словам Ж. Фридмана, мы живем в мире «воскресных водителей» — людей, которые никогда не заглядывали в мотор своей машины *и для которых в функци­онировании вещи заключена ее не просто функция, но и тайна.*

128

Приняв, таким образом, что наше окружение, а следова­тельно, и наше бытовое мировидение в значительной части слагаются из функциональных симулякров, следует задать­ся вопросом о том, в каких верованиях этот дефицит поня­тий находит себе продолжение и компенсацию. В чем зак­лючается эта функциональная тайна вещей? — в смутной, но стойкой обсессии мира-машины, мировой механики. Машина и «штуковина» взаимно исключают друг друга. Дело не в том, что машина — совершенная форма, а «шту­ковина» — форма вырожденная; это просто разнопорядковые величины. Машина — это реальный операторный предмет, «штуковина» же — воображаемый. Машиной обо­значается и структурируется тот или иной комплекс прак­тической реальности, «штуковиной» же — лишь чисто фор­мальная операция, зато операция над миром *в целом.* «Шту­ковина» бессильна в плане реальности1, зато всесильна в плане воображаемого. Какая-нибудь электрическая машин­ка для извлечения косточек из фруктов или же новейшая пылесосная щетка, чтобы чистить крыши шкафов, по сути, быть может, не очень-то практичны, зато удовлетворяют нашей вере, что для каждой потребности имеется возмож­ность механизации, что любая практическая (и даже психо­логическая) трудность может быть предусмотрена, предуп­реждена и заранее разрешена с помощью некоторого технического устройства, рационального и абсолютно при­способленного; к чему именно приспособленного — неваж­но. Главное, чтобы мир изначально выступал как объект «оперирования». Таким образом, фактически означаемым «штуковины» является не косточка сливы и не крыша шка­фа, но вся природа в целом, открытая вновь согласно тех­ническому принципу реальности; это целостный симулякр природы-автомата. Вот в чем ее миф и ее тайна. Как и во всякой мифологии, здесь есть две стороны: мистифицируя человека, погружая его в грезу о функциональности, эта мифология одновременно мистифицирует и вещь, погружая

1 Но некоторый минимум реально-практической применимости все-таки требуется, как алиби для проекции воображаемого.

129

ее в сферу действия иррациональных факторов человечес­кой психики. Человеческое, слишком человеческое и Фун­кциональное, слишком функциональное действуют в тес­ном сообщничестве: когда мир людей оказывается проникнут технической целесообразностью, то при этом и сама техника обязательно оказывается проникнута целесообразностью че­ловеческой — на благо и во зло. Мы более восприимчивы к нарушению человеческих отношений из-за абсурдно-тотали­тарного вторжения в них техники, зато менее восприимчивы к нарушению технической эволюции из-за абсурдно-тотали­тарного вторжения в нее человеческих факторов. Между тем именно в силу иррациональных фантазмов человека за каж­дой машиной вырастает «штуковина», иначе говоря за любой конкретно-функциональной практикой появляется фантазм функциональности.

По-настоящему функциональной «штуковина» оказыва­ется в области бессознательного; этим она нас и привора­живает. Она абсолютно функциональна, абсолютно приспо­соблена — но к чему? А дело в том, что приспособлена она к некоему иному, непрактическому императиву. Миф о вол­шебной функциональности *мира* соотносится с фантазмом волшебной функциональности *тела.* Образ технической сделанности мира связан с образом сексуальной завершен­ности субъекта; в этом смысле «штуковина» как высшая форма орудия по сути представляет собой замену фаллоса как высшей формы операторного средства. Вообще, любая вещь — в какой-то мере «штуковина»; в той мере в какой скрадывается ее практическая инструментальность, она может быть наполнена инструментальностью либидинозной. Так происходит уже с игрушкой у ребенка, с каким-нибудь камнем или деревяшкой у «первобытного» человека, с простейшей шариковой ручкой, которая становится фе­тишем в глазах «нецивилизованного» дикаря, но также и с любой ни для чего не служащей механикой или же старин­ной вещью у человека «цивилизованного».

В любой вещи принцип реальности всегда может быть вынесен за скобки. *Стоит вещи утратить свое конкретно-практическое применение, как она переносится в сферу nсu-*

130

*хической практики.* То есть, проще говоря, за каждой реаль­ной вещью стоит вещь как предмет грезы.

Мы уже видели это в связи со старинными вещами. Но их преодоление, психическое абстрагирование были связа­ны скорее с их материалом и формой, с инволютивным комплексом рождения, тогда как в вещах псевдофункцио­нальных, «штуковинах», происходит абстрактное самопре­одоление *функционирования,* и тем самым они связаны с проективно-фаллическим комплексом могущества. Еще раз повторяем, что это чисто аналитическое разграничение, по­тому что вещи лишь в реальности обладают обычно одной четкой функцией, в психике же нашей их функциональность безгранична, в них могут найти себе место любые фантазмы. Однако в связанном с ними воображаемом намечается некая эволюция — переход от анимической к энергетичес­кой структуре. Традиционные вещи были по преимуществу свидетелями нашего *присутствия,* статичными символами наших телесных органов. Фасцинация технических предме­тов — иного рода, они отсылают к некоторой виртуальной *энергии,* и в этом смысле не столько содержат в себе наше присутствие, сколько несут в себе наш динамический об­раз. Впрочем, и здесь требуется учитывать различные ню­ансы, так как в современной технике сама энергетика ста­новится скрытой, а форма изделий — обтекаемо-эллиптич­ной. В мире коммуникаций и информации энергия редко выставляет себя напоказ. Миниатюризация вещей и сокра­щение жестов делают менее наглядной символику1. Но это не беда: если вещи порой и ускользают от практического контроля со стороны человека, то от его воображаемого им не уйти никогда. *Характер воображаемого следует за харак­тером технической эволюции,* и в будущем новый характер технической действенности также вызовет к жизни новый тип воображаемого. Его облик пока еще нелегко разглядеть, но возможно, что на смену анимистским и энергетическим структурам воображаемого придет новый объект изучения

1 В таком мире миниатюрных, бесшумных, неопосредованных и бе­зупречных устройств большой, наглядно зримой вещью остается автомобиль, в котором живо ощущается присутствие двигателя и процесс вождения.

131

— кибернетические структуры воображаемого, где централь­ным мифом будет не миф об абсолютной органичности или абсолютной функциональности, а миф об абсолютной соот­носительности мира. Сегодня наша бытовая обстановка еще разделена, в неравных пропорциях, на эти три сектора. Ста­ринный буфет, автомобиль и магнитофон уживаются вместе в быту одной и той же семьи; а между тем они радикально различаются по своему способу воображаемого существова­ния, равно как и по способу существования технического.

В любом случае, как бы ни функционировала вещь, мы переживаем это как *свое* функционирование. Как бы она ни действовала, мы проецируем себя в эту действенность, пусть даже она и абсурдна, как в случае «штуковины». И даже осо­бенно — если она абсурдна. На этот счет имеется знамени­тая, магическая и комическая одновременно, формула: «это всегда может пригодиться»; хотя вещь иногда и служит для чего-то определенного, еще чаще она глубинным образом служит ни для чего и для всего сразу — именно для того, чтобы она «всегда могла пригодиться».

### МЕТАФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: РОБОТ

Предельным случаем такого воображаемого проецирова­ния являются предметы-грезы научной фантастики, где цар­ствует «штуковина» в чистом виде. Не следует думать, будто здесь мы выходим за пределы повседневной жизни; в своей вольной сюжетной игре фантастика всего лишь экстраполи­рует иррациональные тенденции этой жизни. Не обладая никакой пророческой ценностью, она зато составляет цен­нейшее свидетельство о нашей цивилизации, подчеркивая не­которые свойственные ей аспекты вещей. Она практически ничего общего не имеет с реальным будущим технической эволюции: по отношению к нему она составляет, так сказать, лишь «предбудущее», питаясь волшебными архаизмами из ре­пертуара уже имеющихся форм и функций. В ней мало струк­турной изобретательности, зато неисчерпаемо много вооб­ражаемых решений для удовлетворения стереотипных по-

132

требностей и функций, зачастую маргинальных и невразу­мительных. По сути, это апофеоз вещей-самоделок. Но при всей своей реально-познавательной скудости она представ­ляет собой богатейший источник данных о том, что касается бессознательного.

В частности, в ней иллюстрируется уже рассмотренный нами глубочайший и в то же время, быть может, иррациональнейший императив современной вещи — автоматика. Соб­ственно, фантастика изобрела одну-единственную сверхвещь — *робота.* Человеку больше нет нужды даже косить по воскре­сеньям траву у себя на лужайке: косилка сама собой придет в движение и сама остановится. Быть может, иной судьбы ве­щам и не дано? Предначертанный им здесь путь неуклонного совершенствования своей функции вплоть до полной автома­тизации (и даже — кто знает — вплоть до вполне «спонтанно­го» самозарождения по образцу живых существ, когда кофе­молки будут, как в детском воображении, производить малень­кие кофемолки)1 не столько связан с будущей техникой человека, сколько обусловлен его современной психологией. Таким образом, миф о роботе вбирает в себя все пути бессоз­нательного в сфере вещей. Это символический микрокосм человека и мира, подменяющий собой как человека, так и мир. Это синтез абсолютной функциональности и абсолютного ан­тропоморфизма. Его предтечу уже являет собой кухонный ком­байн («робот-Мари»). В силу этого робот по сути представляет собой мифологическое завершение наивной фазы вообража­емого, когда осуществляется проецирование непрерывной функциональности. Действительно, подмена должна быть на­глядной. Своим металлическим корпусом, резко-отрывистыми,

1 Здесь проходит рубеж: машина, способная изготовить идентичную себе машину, технологически немыслима. То был бы, разумеется, верх автоно­мии, а ее дискурс всегда заканчивается тавтологией. Но наше воображае­мое не может до этого дойти, разве что ценой магически-инфантильной регрессии до стадии автоматического удвоения (вегетативного размноже­ния). Кроме того, подобная машина была бы и верхом абсурда: ее един­ственной функцией было бы самовоспроизводство — как же ей при этом еще и горох лущить? Для человека размножение именно что не составляет единственную функцию. Наше воображаемое не безумно — оно все время поддерживает дистанцию между человеком и его двойником.

133

нечеловеческими движениями робот ясно показывает, что он представляет собой механический протез, но этим лишь вер­нее нас фасцинирует. Если бы его двойничество с человеком доходило до плавности жестов, он вызывал бы страх. Его дело — служить символом всецело функционализированного и од­новременно персонализированного мира, то есть символом во всех отношениях ободряющим, в предельной мере воплоща­ющим абстрактную силу человека, но не впадающим при этом в тождество с ним1.

Для бессознательного робот представляет собой идеаль­ный предмет, вбирающий в себя все прочие, — но не просто потому, что это симулякр человека в его функциональной действенности, а потому, что, уподобляясь человеку, он упо­добляется ему не настолько совершенно, чтобы стать его двойником; он хотя и человек, но при этом явно остается ве­щью, то есть *рабом.* В глубине своей робот — всегда раб. Он может обладать любыми достоинствами, кроме одного, со­ставляющего суверенную принадлежность человека, — пола. Именно в этих пределах обретает он свою фасцинирующую силу и символическую значимость. Своей многофункцио­нальностью он свидетельствует о фаллическом всевластии человека над миром, но одновременно, будучи контролируе­мым, подвластным, управляемым и бесполым, свидетельству­ет и о том, что фаллос здесь порабощен, что сексуальность приручена и не вызывает более страха; от нее осталась лишь послушная функциональность, воплощенная (если можно так выразиться) в похожей на меня вещи, покоряющей весь мир, но покорной мне; наложив заклятие на эту угрожаю­щую часть себя самого, я теперь могу ею гордиться, как все­могущим рабом, созданным по моему образу.

1 Напомним еще раз притчу об автомате XVIII века (см. выше, глава «Абстракция могущества»): когда иллюзионист, в качестве высшей улов­ки, делает механическими свои собственные жесты и чуть разлаженной свою собственную внешность, то это опять-таки нужно для того, чтобы возвратить спектаклю его смысл — удовольствие от различия между ав­томатом и человеком. Зрителям было бы слишком не по себе теряться в догадках, который из двух «настоящий». А иллюзионист знал, что со­вершенство автомата важно, но еще важнее разница между ним и чело­веком, так что лучше уж пускай машину принимают за человека, а чело­века за машину.

134

Теперь понятно, откуда берется тенденция совершенство­вать каждую вещь до стадии робота. Именно на этой стадии вещь вполне осуществляет свою бессознательную психоло­гическую функцию. На этой же стадии она и обретает свой конец. Ибо для робота уже невозможна дальнейшая эволю­ция: *он застыл в своей человекообразности* и в своей функци­ональной абстрактности, достигаемой любой ценой. Одно­временно это и конец активной генитальной сексуальности, ибо сексуальность, спроецированная на робота, оказывается в нем нейтрализована, обезврежена, заклята; фиксируя эту вещь, она и сама в ней фиксируется. Такова нарциссическая абстракция: мир научной фантастики — это мир бесполый.

Робот интересен еще и в ряде других отношений. По­скольку это мифологический предел вещи, то в нем скап­ливаются все фантазмы, которыми наполнены наши глубин­ные отношения с окружающей средой.

Робот — это раб, но мотив раба всегда, начиная еще с ле­генды об ученике чародея, связывался с мотивом *бунта.* В научно-фантастических произведениях нередко происходит, в той или иной форме, восстание роботов; имплицитно же оно подразумевается в них всегда. Робот подобен рабу, он и очень добр и очень коварен; он очень добр, пока его сила в оковах, и очень зол, будучи способен их порвать. А потому человек с полным основанием опасается возрождения той силы, которую он заковал, заключил в свой образ. Сила эта — его собственная сексуальность, обращающаяся против него самого и тем пугающая. Освобожденная, раскованная, мятеж­ная сексуальность становится смертельным врагом челове­ка; это и проявляется в том, что роботы нередко и непредс­казуемо начинают вести себя «не так», превращаясь в разру­шительную силу, или же просто в том, что мы постоянно испытываем тревогу из-за такого всегда возможного превра­щения. При этом человек оказывается во власти глубинных сил своей собственной психики, сталкивается со своим двой­ником, наделенным его же собственной энергией, а из пре­даний мы знаем, что появление двойника означает смерть. В бунте роботов происходит восстание порабощенной фалли­ческой энергии, и в этом и состоит смысл их механического

135

коварства (а равно и в нарушении функциональности окру­жающей нас среды). Здесь возможны два сюжетных исхода: либо человеку удается обуздать «дурные» силы, и все воз­вращается в рамки «добропорядочности», либо воплощен­ные в роботе силы разрушают сами себя, доводя свой авто­матизм до самоубийства. Мотив разладившегося робота и его саморазрушения также распространен в научной фан­тастике, логически вытекая из мотива его бунта. Читатель­ский интерес питается здесь скрытой в вещах, в Вещи как таковой апокалиптичностью. Соблазнительно даже связать подобный сюжетный поворот с моральным осуждением на­уки как люциферовского непокорства: техника губит сама себя, и человек возвращается к благостной природе. Такой моральный мотив, безусловно, активно присутствует в фан­тастических произведениях, но он слишком наивен и одно­временно слишком рационален. Мораль никогда никого не фасцинировала, тогда как долгожданный самораспад робо­та доставляет нам странное удовлетворение. Устойчивая по­вторяемость такого фантазма ритуального расчленения, где торжествующая функциональность вещи достигает своего предела, обусловлена не столько моральным императивом, сколько некоторым фундаментальным желанием. Мы сма­куем здесь зрелище смерти, и если признать, что робот сим­волизирует порабощенную сексуальность, то приходится также признать, что его распад доставляет человеку симво­лическое зрелище распада его собственной сексуальности, которую он уничтожает, предварительно подчинив своему образу. Если следовать Фрейду вплоть до последних выво­дов, то можно даже предположить, что человек в этих обра­зах взбесившейся техники торжествует грядущее событие своей собственной смерти или, быть может, отрекается от сексуальности, чтобы освободиться от тревоги.

К этому великому сюжету научной фантастики — «само­убийству» или же убийству вещи — подводит нас и такое мод­ное представление, как «хэппенинг» («Событие»), которое можно охарактеризовать как оргиастический сеанс разруше­ния и унижения вещей, как ритуальное всесожжение, где вся пресыщенная цивилизация празднует свой полный упадок и

136

гибель. В США мода на «хэппенинг» привела к его коммерци­ализации: там продаются красивые сложные механизмы с зуб­чатыми колесами, рычагами, передачами и т.д. — настоящие чудеса никчемной функциональности, обладающие свойством после нескольких часов действия внезапно и бесповоротно разваливаться. Люди дарят друг другу такие вещи, и их распад, уничтожение, смерть празднуется дружеским пиром.

Но даже если не заходить столь далеко, в некоторых современных вещах явно воплощен какой-то фатум. Осо­бую роль опять-таки играет здесь автомобиль. В него че­ловек вкладывает всю свою душу — и хорошее и дурное. Он пользуется его услугами, но одновременно принимает и, быть может, даже ожидает от него некую роковую участь, ритуальным воплощением которой стал, например, кине­матографический мотив смерти в автомобильной аварии.

### АВАТАРЫ ТЕХНИКИ

Итак, порождаемые техникой функциональные мифоло­гии прослеживаются вплоть до уровня своеобразного фату­ма, где эта техника, призванная подчинять себе мир, крис­таллизуется в своей противоположной, опасной направлен­ности. Достигнув этого пункта, мы должны:

1 ) По-новому поставить проблему нестойкости вещей, их распада: изначально представая нам как фактор надежности жизни, фактор равновесия, хотя бы невротического, они одно­временно постоянно являются и фактором разочарования.

2) Заново рассмотреть имплицитно заложенное в нашем об­ществе представление о рациональности целей и средств в строе производства и в самом техническом проекте как таковом.

Оба эти аспекта — социоэкономическая система производ­ства и психологическая система проекции — способствуют дисфункциональности, противо-целесообразности вещей. Необходимо выяснить взаимную обусловленность этих двух систем, их взаимодействие.

Техническое общество живет стойким мифом о непрерыв­ном развитии техники и о нравственном «отставании» от нее людей. Оба аспекта взаимосвязаны: благодаря «стагнации»

137

нравов технический прогресс получает новый облик, пред­стает как единственная надежная ценность, как высшая ин­станция нашего общества; тем самым получает оправдание и весь строй производства. Под прикрытием морального про­тиворечия уходят, таким образом, от противоречия реально­го, состоящего в том, что современная система производства, работая для реального технологического развития, сама же ему и противится (а тем самым противится и перестройке со­циальных отношений). Миф об идеальной конвергенции тех­ники, производства и потребления прикрывает собой всевоз­можные противо-целесообразности в политике и экономи­ке. Да и вообще, как может система технических средств и вещей гармонически развиваться, в то время как система от­ношений между производящими их людьми переживает стаг­нацию или регресс? Люди и техника, потребности и вещи вза­имно структурируют друг друга — к лучшему или к худшему. В ареале той или иной данной цивилизации структуры ин­дивида и общества связаны с технико-функциональными особенностями едва ли не универсальным законом. Он дей­ствует и в нашей технической цивилизации: техника и вещи страдают от той же порабощенности, что и люди, — процесс их конкретного структурирования, то есть объективный тех­нический прогресс, страдает от тех же задержек, отклонений и отступлений назад, что и процесс конкретной социализа­ции человеческих отношений, то есть объективный соци­альный прогресс.

Вещи как бы болеют раком: безудержное размножение в них внеструктурных элементов, сообщающее вещи ее самоуверенность, — это ведь своего рода опухоль. А между тем именно на таких внеструктурных элементах (автомати­ке, аксессуарах, несущественных отличиях) зиждется вся си­стема моды и управляемого потребления1. Именно к ним, как к своему завершению, стремится техническая эволюция. В них вещь, изначально перенасыщенная, внешне пышу­щая здоровьем в своих метаморфозах, истощается в судо­рожно-броских изменениях формы. По словам Льюиса Мамфорда («Техника и цивилизация», с. 341 ), «с точки зрения техники перемены в форме и стиле суть признаки незрелости.

1 См. ниже, «Модели и серии».

138

Они знаменуют собой переходный период. Капитализм же1 сде­лал этот переходный период постоянным». В качестве примера он приводит тот факт, что в Соединенных Штатах после герои­ческой эпохи 1910-1940 годов, когда появились на свет авто­мобиль, самолет, холодильник, телевизор и т.д., новые изобре­тения практически прекратились. Вещи улучшались, совершен­ствовались, по-новому оформлялись — делались привле­кательнее, но без структурных нововведений. «Главное препят­ствие к дальнейшему, более полному развитию машины, — продолжает Мамфорд, — состоит в том, что вкус и мода связы­ваются с расточительством и коммерческой выгодой» (с. 303). Действительно, с одной стороны, второстепенные усовершен­ствования вещей, их усложнение и введение новых систем (си­стем безопасности, престижа) поддерживают в обществе иллю­зию «прогресса», скрадывая необходимость более глубоких пре­образований (это, так сказать, «реформизм» вещей). С другой стороны, мода, беспорядочно приумножая вторичные системы, является царством случая и вместе с тем бесконечного повторе­ния форм, где, следовательно, и концентрируется максимум коммерческих поисков. Между вертикалью техники и горизон­талью прибыли, между непрестанным процессом превосходящих друг друга технических изобретений и замкнутой системой вещей и форм, повторяющихся в интересах производства, су­ществует фундаментальная противопоставленность.

Здесь-то и сказывается то, что вещи призваны служить заменой человеческих отношений. В своей конкретной фун­кции вещь — это разрешение некоей практической пробле­мы. *В несущественных же своих аспектах это разрешение некоего социального или психологического конфликта.* Именно такова современная «философия» вещи у Эрнста Дихтера, пророка исследований мотивации: она сводится к убе­ждению, что любое напряжение, любой индивидуальный или коллективный конфликт разрешимы посредством некоторой вещи («Стратегия желания», с. 81). Как на каждый день в году есть свой святой — так и для каждой проблемы есть своя вещь;

1 Безусловно, для целого исторического периода влияние капитализ­ма было здесь решающим. Но с достижением известного уровня техниче­ской эволюции и доступности изделий и благ все становится не столь ясно.

139

главное — в нужный момент изготовить ее и выбросить на рынок. Если Дихтер видит в этом идеальное решение про­блем, то Л.Мамфорд с большим основанием усматривает здесь решение вынужденное и критически рассматривает всю нашу цивилизацию через подобную концепцию вещи и тех­ники как подмены человеческих конфликтов: «Механичес­кая организация зачастую представляет собой временную и дорогостоящую замену настоящей социальной организации или же здоровой биологической адаптации» (с. 244). «В не­котором смысле машины санкционируют собой неэффектив­ность общества» (с. 245). «В нашей цивилизации машина от­нюдь не является знаком могущества социального строя, но знаменует нередко его бессилие и паралич» (с. 366).

Нелегко определить, во что обходится обществу в целом такое отвлекающее действие техники (рабски зависимой от моды и форсированного потребления) по отношению к ре­альным конфликтам и потребностям. Эти потери колоссаль­ны. Если обратиться к примеру автомобиля, то сегодня труд­но даже представить себе, каким он мог бы стать потрясаю­щим орудием перестройки человеческих отношений, обеспечивая покорение пространства и стимулируя структур­ное преобразование целого ряда технических процессов; од­нако он очень скоро оказался отягощен паразитарными фун­кциями престижа, комфорта, бессознательной проекции и т. д., которые затормозили, а затем и вовсе заблокировали раз­витие его функции человеческого синтеза. Сегодня эта вещь находится в полной стагнации. Все более абстрагируясь от своей социальной функции транспортного средства, все бо­лее замыкая эту функцию в рамках архаических пережитков, автомобиль переделывается, перестраивается и преобража­ется в безумном темпе, но в непреодолимых пределах раз на­всегда данной структуры. На стадии автомобиля способна ос­тановиться в своем развитии и целая цивилизация.

Следует разграничивать три уровня, на которых парал­лельно происходит эволюция:

— техническое структурирование вещи (конвергенция функций, их интеграция, конкретизация, экономия),

— параллельное структурирование мира и природы (победа над пространством, контроль над энергией, моби-

140

лизация материи; все большая информированность, взаимосоотносительность мира),

— структурирование человеческой практики, индиви­дуальной и коллективной, в сторону все большей «относитель­ности» и мобильности, открытая интеграция и «экономия» общества аналогично тому, что происходит в передовых тех­нических изделиях. В таком случае приходится констатировать, что при всей несогласованности, связанной с собственной ди­намикой каждого из этих трех уровней, их развитие по сути синхронно замедляется или же замирает. Техническое изделие, достигнув требуемого результата и застыв на этом уровне (в случае автомобиля это частичная победа над пространством во втором аспекте), в дальнейшем лишь коннотирует эту не­подвижную структуру, все более захлестываемую всякого рода субъективными мотивациями (регресс в третьем аспекте). И тогда автомобиль, например, утрачивая свою динамику как тех­нического изделия (регресс в первом аспекте), начинает не-подвижно-взаимодополнительно соотноситься с домом: дом и машина составляют замкнутую систему, психически нагру­женную условными человеческими значениями, так что ма­шина, вместо того чтобы служить фактором отношений и об­мена между людьми, всецело превращается в предмет чистого потребления. «Не только старые технические формы тормо­зили собой развитие неотехнической экономики, но и но­вейшие изобретения нередко содействовали тому, чтобы под­держивать, подновлять и стабилизировать структуру устарев­шего строя» (Мамфорд, с. 236). Автомобиль уже не устраняет преграды между людьми — напротив, люди делают эти са­мые преграды его нагрузкой. Побежденное пространство раз­деляет их еще более непроходимо, чем непобежденное1.

1 В этом смысле понятно, что и кино и телевидение прошли или про­ходят мимо своих грандиозных возможностей «переменить жизнь». Как пишет Эдгар Морен («Кино и человек воображаемый», с. 15), «никого не удивляет, что кинематограф с самого своего рождения круто отошел от своих очевидных научно-технических задач, вступил в стихию зрелищ и превратился в «кино»... Бурный подъем «кино» обернулся атрофией та­ких его потенций, которые могли бы показаться вполне естественными». И далее он показывает, каким образом медлительность технических но­вовведений в кинематографе (освоение звука, цвета, объемности) связа­на с его эксплуатацией как потребительского «кино».

141

### ТЕХНИКА И СИСТЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Следует, однако, задуматься о том, не обусловлена ли из­начально эта относительная стагнация форм и технических средств (а в дальнейшем, в главе «Модели и серии», мы убе­димся, что такой систематический дефицит чрезвычайно эф­фективен в плане социальной интеграции) еще и чем-то иным, кроме своекорыстного диктата определенного строя про­изводства, кроме абсолютной инстанции социального отчуждения. Иначе говоря, представляет ли собой недоразви­тость вещей «несчастную случайность социальной жизни», по выражению Л. Мамфорда? (Если бы люди были здесь «ни при чем» и в неполноценности нашей техники был бы повинен один лишь строй производства, то это была бы в самом деле несчастная случайность, некое необъяснимое противоречие, равно как и в обратной ситуации — в буржуазной легенде об «опережающем» развитии техники и «отставании» человечес­кой морали.) Фактически же никакой случайности здесь нет, и хотя очень большую роль действительно играет здесь сис­тематическая эксплуатация, осуществляемая определенным строем производства (структурно связанным с определенным социальным строем) по отношению к целому обществу с по­мощью особой системы вещей, — в то же время система эта столь прочна и стабильна, что невозможно не заподозрить некую согласованность между коллективным строем произ­водства и индивидуальным (пусть и бессознательным) стро­ем потребностей; согласованность как тесные отношения не­гативного сообщничества, как взаимообусловленность меж­ду дисфункциональностью социоэкономической системы и глубинным воздействием системы бессознательного, о чем мы уже начали говорить в нашем анализе робота.

Коннотация и персонализация, мода и автоматика сходятся вместе во внеструктурных элементах, которые вов­лекаются в систему производства, систематизируясь в своих иррациональных мотивациях; быть может, это оттого, что у человека просто нет ясной воли и возможности преодолеть свои собственные архаические структуры проекции; по край­ней мере, в нем есть некое глубинное сопротивление, не да-

142

ющее поступиться своими субъективно-проективными воз­можностями и их бесконечной повторяемостью ради какой-то конкретно-структурной эволюции (одновременно техни­ческой и социальной); проще говоря, имеется глубинное со­противление, не дающее поставить рациональный порядок на место случайной целенаправленности наших потребнос­тей. Очевидно, здесь в способе существования вещей, да и самого общества, происходит роковой поворот. Начиная с из­вестного уровня технической эволюции, по мере удовлетво­рения первичных потребностей у нас, видимо, появляется но­вая, не менее, а то и более сильная потребность — важна не столько настоящая функциональность вещей, сколько их фантазматическая, аллегорическая, подсознательная «ус­вояемость». Почему автомобили не получают иных форм (на­пример, с кабиной спереди и обтекаемыми контурами, по­зволяющими человеку эффективно переживать покрываемое им пространство, чтобы машина не подменяла для него дом или же самого субъекта, одержимого желанием стать мета­тельным снарядом)? Возможно, потому, что нынешняя фор­ма, создаваемая по абсолютно-недосягаемому образцу гоноч­ных машин с их непомерно длинным капотом, дает возмож­ность спроецировать на себя нечто более существенное и более важное, чем любые достижения в искусстве простран­ственного перемещения?

Человек, видимо, нуждается в том, чтобы мир был напол­нен еще и таким бессознательным дискурсом, а тем самым остановлен в своей эволюции. В этом направлении можно зайти очень далеко. Если внеструктурные элементы, в кото­рых явно кристаллизуются самые стойкие желания челове­ка, представляют собой не просто параллельные функции, усложняющие и дополняющие структуру, но именно нару­шения, прорывы функциональной цепи, отклонения от объективно-структурного порядка; если целая цивилизация, как мы видим, отходит тем самым от реального преобразова­ния своих структур и если все это не случайно — позволи­тельно задаться вопросом, не склоняется ли человек, по ту сторону мифа о функциональной расточительности («персо­нализированном изобилии»), фактически скрывающего со­бою обсессивную озабоченность собственным образом, не склоняется ли он скорее к дисфункциональности, нежели

143

ко все большей функциональности мира. Быть может, че­ловек сам играет в эту игру дисфункциональных наруше­ний, в результате которой нас обступают вещи, застывшие в своем росте из-за своих же внешних наростов, не сбыв­шиеся сами и разочаровывающие нас тем более, чем более они близки нашей личности?

Здесь еще сильнее сказывается то, что чуть выше пред­стало нам как одно из определяющих качеств вещи, а имен­но ее способность к подменам; на уровне бессознательных конфликтов, еще с большим основанием, чем на уровне кон­фликтов социальных или осознанно психологических (о которых идет речь у Э. Дихтера и Л. Мамфорда), можно утверждать, что применение техники, а проще говоря по­требление вещей, играет роль отвлекающего средства и во­ображаемого решения проблем. Техника может быть дей­ственным опосредованием между людьми и миром; но это путь наибольшего сопротивления. Путь же наименьшего со­противления заключается в создании системы вещей, выс­тупающей как воображаемое разрешение любых противо­речий; в ней происходит, так сказать, короткое замыкание технической системы и системы индивидуальных потребно­стей, разряжающее энергию и той и другой. Но тогда и не удивительно, что возникающая отсюда система вещей от­мечена знаком распада: в этом структурном изъяне всего лишь отражаются те противоречия, формальным разреше­нием которых является данная система вещей. Будучи ин­дивидуальным или коллективным *алиби* для тех или иных конфликтов, система вещей неизбежно несет на себе печать нежелания знать эти конфликты.

Но что же это за конфликты? И по отношению к чему со­ставляют они алиби? Человек связал все свое будущее с одно­временным осуществлением двух проектов — укрощением внешней природной и внутренней либидинозной энергии; и та и другая переживаются им как роковая угроза. Бессозна­тельная экономика системы вещей представляет собой аппа­рат проецирования и укрощения (или контроля) либидо с по­мощью опосредованного воздействия. Достигается двойная выгода: господство над природой и производство жизненных благ. Беда лишь в том, что такая замечательная экономика со­держит в себе двойную угрозу для строя человеческой жизни:

144

l ) сексуальность оказывается как бы заколдованной, запертой в строе техники, 2) с другой стороны, этот строй техники ис­кажается в своем развитии под действием конфликтной энер­гии, которой он нагружен. Эти два члена вступают, таким об­разом, в неразрешимое противоречие, создают хронический дефект: система вещей, как она функционирует сегодня, со­держит в себе в качестве всегда присутствующей возможности *согласие* на подобную регрессию, на соблазн положить конец сексуальности, раз навсегда амортизировать ее в вечно повто­ряющейся и стремящейся вперед технической эволюции.

На практике строй техники всегда сохраняет некоторую присущую ему динамику, препятствующую бесконечной повторяемости регрессивной системы, которая в совершен­ном своем состоянии была бы не чем иным, как смертью. Тем не менее ее предпосылки имеются в нашей системе вещей, которая *постоянно испытывает соблазн инволюции, все время уживающийся с шансами на эволюционное движение вперед.*

Такой соблазн инволюции — по сути, инволюции в смерть, избавляющей от страха сексуальности, — в строе техники по­рой приобретает в высшей степени яркие и резкие формы. Он оказывается при этом поистине трагическим соблазном сделать так, чтобы сам этот строй техники обратился против установив­шего его человека; чтобы вырвалась наружу фатальная сила этого строя, призванного как раз обуздывать ее; такой процесс одно­типен описанному Фрейдом прорыву вытесненной энергии сквозь вытесняющую инстанцию, который приводит в негод­ность все защитные механизмы. В отличие от постепенной ин­волюции, сулящей нам безопасность, трагическое связано с го­ловокружительно резким разрешением конфликта между сек­суальностью и «я». Головокружение происходит от вторжения тех энергий, что были скованы в технических изделиях как символах господства над миром. Такая противоречивая установка — побеждать рок, одновременно провоцируя его, — отражается и в экономическом строе производства, где непре­рывно производятся вещи, но лишь вещи искусственно ли­шенные прочности, частично нефункциональные, обреченные на скорую гибель, то есть система работает на производство вещей, но одновременно и на их разрушение.

Следует уточнить: трагична не сама непрочность вещей и не их гибель. Трагичен *соблазн* этой непрочности и гибели. Этот

145

соблазн отчасти удовлетворяется тогда, когда вещь перестает нас слушаться, — при том что одновременно такой отказ со­здает нам помехи и приводит нас в отчаяние. Здесь происхо­дит то же лукаво-головокружительное удовлетворение, кото­рое, как мы видели, проецируется в фантазмы бунта и само­разрушения робота. Вещь мстит за себя. В своем бунте она «персонализируется», но в данном случае — не на благо, а во зло. Нас шокирует и удивляет это ее враждебное преображе­ние, но следует признать, что достаточно быстро развивается и чувство покорности этому бунту как роковому событию, в котором наглядно проявляется приятная нам непрочность ве­щей. Одиночная техническая неполадка нас злит, зато целый их каскад может вызвать эйфорию. Нам неприятно, если кув­шин треснет, зато доставляет удовлетворение, если он разобь­ется вдребезги. Поломка вещи всегда переживается нами двой­ственно. *Она подрывает надежность нашего положения, но одновременно и материализует наш постоянный спор с самим собой, который также требует себе удовлетворения.* От зажи­галки мы ждем, что она сработает, но одновременно думаем — а то и желаем этого, — что она может и не сработать (Э. Дихтер, с. 91). Попробуем представить себе совершенно безотказ­ную вещь — она была бы источником разочарования в плане того спора с самим собой, о котором идет речь; безотказность в конечном счете неизбежно вызывает тревогу. Дело в том, что мир безотказных вещей был бы миром, где окончательно по­глощена фатальность, то есть сексуальность. Поэтому малей­ший знак того, что эта фатальная сила вновь ожила, вызывает в человеке глубинное удовлетворение: в таком просвете на миг оживает сексуальность, пусть даже как сила враждебная (а в подобной ситуации она всегда оказывается таковой), пусть даже ее вторжение знаменует собой неудачу, смерть или разру­шение. Заключенное в нас противоречие и разрешается про­тиворечиво — могло ли быть иначе?1

1 Такова легенда о «пражском студенте», которого преследует матери­ализовавшееся в его двойника отражение в зеркале (в результате сделки с дьяволом). У него нет больше зеркального образа, зато его преследует этот образ, ставший двойником. Однажды, улучив момент, когда этот двой­ник, как и в исходной сцене, оказался между ним и зеркалом, он стреляет в него и убивает; но убивает он, разумеется, самого себя, поскольку двой­ник забрал себе его реальность. Перед смертью, однако, он видит в оскол­ках разбитого зеркала свое реальное отражение,

146

Наша «техническая» цивилизация, в той мере в какой она поддается предвидению на основании американской моде­ли, — это мир одновременно систематичный и непрочный. Система вещей иллюстрирует собой эту систематику не­прочности, эфемерности, все более частой повторяемости, все более повторяя систематику удовлетворения и разоча­рования, ненадежного заклятия реальных конфликтов, угрожающих индивидуальным и социальным отношениям. Благодаря обществу потребления мы можем впервые в на­шей истории оказаться перед лицом организованной и нео­братимой попытки всецело интегрировать общество в раз на­всегда данную систему вещей, которая всегда и во всем будет подменять собой открытое взаимодействие природных сил, человеческих потребностей и технических средств; ее дви­жущей силой становится официально предписанная и орга­низованная смертность вещей — грандиозный коллективный «хэппенинг», где в эйфории разрушительства, в ритуальном истреблении вещей и жестов социальная группа торжествует свою собственную смерть1. Еще раз повторим: можно счи­тать, что это всего лишь детская болезнь технического об­щества, относя все эти нарушения роста исключительно на счет дисфункциональности нынешних социальных структур (капиталистического строя производства). В таком случае в дальней перспективе остается шанс превзойти всю эту сис­тему в целом. Но если здесь присутствует нечто иное, чем анархическая целевая установка производства, служащего орудием социальной эксплуатации, если здесь сказываются некоторые глубинные конфликты — сугубо индивидуальные, но отзывающиеся мощным резонансом на коллективном уровне, — тогда надежда на социальную прозрачность поте­ряна навсегда. Так что же это — трудности роста, переживае­мые обществом, которому все-таки суждено жить в лучшем из миров, или организованная регрессия перед лицом нераз­решимых конфликтов? Анархия производства или же ин­стинкт смерти? Что именно вносит расстройство в цивили­зацию? — этот вопрос остается открытым.

1 Это может быть названо потребительским *нигилизмом* (Э. Морен).

# D. СОЦИОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

## I. Модели и серии

### ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВЕЩЬ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

В статусе современной вещи важнейшую роль играет оппозиция *модель/серия.* В известной мере так было и все­гда. В обществе всегда имелось привилегированное мень­шинство, служившее экспериментальным полигоном для сменявших друг друга стилей, а уже в дальнейшем эти сти­левые решения, методы и ухищрения повсеместно тиражи­ровались ремесленниками. Тем не менее до наступления ин­дустриальной эпохи невозможно говорить в точном смысле слова ни о «модели», ни о «серии». С одной стороны, в до-индустриальном обществе между всеми вещами имеется больше однородности, поскольку способ их производства — всякий раз ручная работа, поскольку они не столь специ­ализированы по своим функциям и разброс культурных форм не столь широк (они очень мало соотносятся с куль­турами прошлого и чужих стран); с другой стороны, между разрядом вещей, претендующих на «стиль», и ремесленной продукцией, обладающей всего лишь потребительной стоимостью, пролегает более резкий раздел. Сегодня крес­тьянский стол обладает культурной значимостью, а еще тридцать лет назад он годился лишь для практического применения. В XVIII веке стол «Людовика XV» никак не соотносился с крестьянским столом — эти два разряда ве­щей, равно как и два социальных класса, с которыми они связаны, разделяла непроходимая пропасть. Они не интег-

149

рировались ни в одну общую систему1. Однако и нельзя сказать, чтобы стол Людовика XV являлся моделью, а бес­численные столы и стулья, имитировавшие его впослед­ствии, образовывали серию2. При ограниченном тиражиро­вании ремесленных приемов здесь не происходит тиражи­рования смыслов: «модель» остается абсолютом, который связан с чем-то трансцендентным. Она не порождает ника­кой «серии» в современном нашем понимании слова. Свой статус вещь получает от общественного строя: она бывает либо благородной, либо нет, и благородная вещь не состав­ляет особо отмеченного элемента социальной серии, бла­городство изливается на нее подобно благодати, абсолютно выделяя из всяких рядов. Эквивалентом такого трансцен­дентного понимания вещей может быть то, что мы называ­ем «стильностью».

Очень важно это различие между доиндустриальными «стильными» вещами и современными вещами-моделями. Оно единственно может позволить нам точнее понять, по ту сторону их формальной противопоставленности, реаль­ные отношения между моделью и серией в нашей современ­ной системе.

В самом деле, наблюдая, как широкие слои современного общества обходятся серийными вещами, формально и психологически отсылающими к моделям, которыми пользу­ется меньшинство, — мы ощущаем сильный соблазн упрос­тить проблему, противопоставив друг другу эти два типа ве­щей, а затем приписав лишь одному из двух полюсов досто­инство реальности; иначе говоря, отделить модель от серий и связать что-то одно с реальным, а другое — с воображае-

1 Впрочем, различие между классами вещей, видимо, никогда не быва­ет таким же четким, как между классами общества. Абсолютность различия и иерархического порядка в системе общественных групп сглаживается в системе вещей благодаря практическому применению: на всех ступенях со­циальной лестницы стол имеет одну и ту же первичную функцию.

2 Если в гораздо более близкие к нам времена сделался предметом се­рийной обстановки буфет в стиле Генриха II, то это произошло совсем другим, окольным путем, через запуск в промышленное производство «культурных» вещей.

150

мым. На самом деле, однако, серийные бытовые вещи не яв­ляются ирреальными по сравнению с миром моделей как миром якобы истинных ценностей, но и сфера моделей, от­носясь лишь к ничтожному меньшинству и тем самым как будто бы выходя за рамки социальной реальности, не явля­ется тем не менее воображаемой. В наши дни, благодаря распространению моделей средствами массовой информации и коммуникации, сложился, наряду с оборотом вещей, так­же и «психологический» оборот, и в этом глубокое отличие индустриальной эпохи от эпохи доиндустриальной, когда су­ществовало трансцендентное достоинство «стиля». Человек, купивший себе ореховый спальный гарнитур от «Дюбонбуа» или же серийную бытовую электроаппаратуру, осуществив­ший тем самым некоторую мечту о социальном возвышении, тем не менее знает, благодаря прессе, кино и телевидению, что на рынке бывают еще и «гармонизированные», «функционализированные» гарнитуры. Он, безусловно, переживает их как особый, роскошно-престижный мир, от которого он отрезан практически непреодолимым барьером денег, но ни­какой классово-юридический статус, никакая правовая трансцендентность его от них в наши дни более не отделяет. Психологически это чрезвычайно важно, поскольку в силу этого пользование серийными вещами всегда имплицитно или эксплицитно сопровождается утверждением модели, не­смотря на фрустрацию и полную материальную невозмож­ность такую модель заполучить.

С другой стороны, и сами модели уже не замыкаются более в жизни определенной касты1, но включаются в про­цесс промышленного производства и тем самым раскрыва­ются для серийного тиражирования. Они теперь тоже пред­стают как «функциональные» (что было всегда чуждо «стиль­ной» мебели) и де-юре доступные всем. В результате каждый, через посредство даже самой скромной вещи, оказывается причастен де-юре и к ее модели. Кроме того, теперь все реже и реже встречаются чистые модели и чистые серийные вещи. Между двумя полюсами все больше и больше бесконечно

1 Хотя и отнюдь не теряют при этом своего классового статуса (см. ниже).

151

дифференцирующихся промежуточных звеньев. Подобно производству, вещь проходит через все цвета социальной призмы. И такого рода промежуточные звенья повседневно переживаются нами как доступность или же как фрустра­ция: тот, кто имеет дело с серией, носит в себе модель, а тот, кто причастен модели, тем самым обозначает, отрицает, пре­одолевает, противоречиво переживает серию. Такая цирку­ляция, пронизывая собой все общество, возводя серию к модели и постоянно тиражируя модель в серию, в своей не­прерывной динамике есть не что иное, как идеология на­шего общества.

### «ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ» ВЕЩЬ

Отметим, что дистрибутивная схема «модель/серия» не ко всем категориям вещей применима в равной мере. Она ясна, когда речь идет об одежде («платье от Фата»/«конфекция») или об автомобиле («фасель-вега»/«2 CV»). Она ста­новится менее очевидной, по мере того как мы обращаемся к категориям вещей, более специализированных по своей функции: между холодильником «Фрижидер» компании «Дженерал моторз» и холодильником «Фрижико», между тем или другим телевизором различия становятся размытыми. На уровне же мелких приспособлений — кофемолок и т.д. — понятие «модели» тяготеет к слиянию с понятием «типа», когда функция вещи в значительной степени вбирает в себя различия статуса, а те в конце концов сводятся к паре «рос­кошная модель»/«серийная модель» (такой оппозицией обо­значается точка наименьшего сопротивления в понятии модели). Если же, наоборот, рассмотреть вещи коллек­тивного пользования, то есть машины, то мы увидим, что и здесь уже нельзя найти роскошного экземпляра чистой ма­шины: прокатный стан, будь он даже уникален во всем мире, все равно с самого своего появления является серийным. Одна машина может быть «современнее» другой, но это не делает ее «моделью», по отношению к которой другие, не столь совершенные машины образовывали бы серию. Что­бы добиться тех же технических характеристик, надо стро-

152

ить другие машины того же типа, то есть, начиная уже с пер­вого элемента, получается чистая серия. Здесь нет места для гаммы исчислимых отличий, на которых основывалась бы психологическая динамика. На уровне чистой функции, поскольку нет комбинаторики переменных величин, не может быть и моделей1.

*Психосоциологическая динамика модели и серии действует, стало быть, не на уровне первичной функции вещей, а на уров­не некоей вторичной функции, свойственной вещам «персона­лизированным» —* то есть одновременно подчиненным им­перативу индивидуальности и заключенным в рамки систе­мы отличий, которая, собственно, и есть система культуры.

#### Выбор

Ни одна вещь не предлагается потребителю в виде одного-единственного типа. Вам может быть отказано в матери­альной возможности ее купить, но в нашем индустриаль­ном обществе вам «априори» дается право выбора как не­кая коллективная благодать и как знак вашей формальной свободы. На такой негативной свободе зиждется «персона­лизация» вещей2. Поскольку покупателю предлагается ши­рокий набор возможностей, то человек не просто покупает нечто необходимое, но *личностно* вовлекается в нечто транс­цендентное вещи. У нас, собственно, больше нет возмож­ности не делать выбора, покупать вещь просто ради ее при­менения — сегодня больше нет вещей, которые предлага­лись бы покупателю на таком «нулевом уровне». Наша свобода выбора заставляет нас волей-неволей вступать в сис-

1 Произведение искусства также не связано ни с моделью, ни с серией. Здесь действует столь же категорическая альтернатива, что и в случае ма­шины: машина выполняет или не выполняет свою функцию, произведение искусства бывает подлинным или поддельным. Здесь нет никаких марги­нальных отличий. Динамика модели-серии может действовать только на уровне персонализированного предмета частной собственности, а не на уровне произведения как такового.

2 Там, где вещь существует лишь в одном варианте (например, один тип автомобиля в Восточной Германии), это знак дефицита, исторически предшествующего обществу потребления как таковому. Для нашего об­щества такая стадия может рассматриваться только как временная.

153

тему культуры. Таким образом, выбор лишь кажущийся: мы переживаем его как свободу, но гораздо меньше ощущаем, что он нам навязывается, а через его посредство и целое об­щество навязывает нам свою власть. Выбирая ту, а не дру­гую автомашину, вы, быть может, и утверждаете свою лич­ность, но главное — самим фактом своего выбора вы связы­ваете свою судьбу с экономическим строем в целом. «Самый факт выбора той или иной вещи, с тем чтобы отделить себя от других, уже служит целям общества» (Стюарт Милль). Приумножая число вещей, общество на них переносит способность выбора и тем самым нейтрализует опасность, которую всегда представляет для него этот личностный им­ператив. Отсюда явствует, что понятие «персонализации» — нечто большее, чем прием рекламного внушения; это фун­даментальное идеологическое понятие нашего общества, ко­торое через «персонализацию» вещей и представлений стре­мится достичь еще большей интеграции личностей1.

#### Маргинальное отличие

Из того факта, что каждая вещь является нам под знаком некоторого выбора, вытекает как следствие, что по сути вещь никогда не предлагается нам в качестве серийной, но вся­кий раз — в качестве модели. Любой, самый мелкий пред­мет отличается от других в тех или иных чертах — окраске, аксессуарах, деталях. Такое отличие всегда представляется как его специфика:

«Эта мусорная корзина абсолютно оригинальна. Ее украсила

для вас цветами фирма «Жилак декор».

«Этот холодильник — революционное новшество: в нем имеется морозильная камера нового типа и разогреватель для масла».

«Эта электробритва — новейшее достижение прогресса: она

восьмиугольной формы и антимагнетична».

Фактически такие отличия являются, пользуясь термином Рисмена, маргинальными отличиями или, точнее, отличия­ми несущественными. И действительно, в рамках индустри-

1 В дальнейшем мы еще вернемся к этой системе.

154

ального производства, где все технологически взаимосвя­занно, императив персонализации может быть удовлетво­рен лишь в несущественном. Чтобы персонализировать ав­томобиль, производитель может сделать только одно: взять серийное шасси и серийный двигатель и модифицировать лишь кое-какие внешние черты, или же добавить кое-ка­кие аксессуары. Сам по себе автомобиль как предмет, обла­дающий технической сущностью, персонализироваться не может, это возможно лишь в отношении его несущностных аспектов.

Разумеется, чем больше вещь должна соответствовать требованию персонализации, тем более ее существенные ха­рактеристики попадают в зависимость от внешних по отно­шению к ним задач. Кузов автомобиля утяжеляется аксессу­арами, его формы противоречат техническим нормам обте­каемости и подвижности транспортного средства. Таким образом, «маргинальное» отличие не просто маргинально, оно идет наперекор самой сущности технического устройства. Функция персонализации — фактор не просто добавочный, но паразитарный. Технологически в индустриальной систе­ме невозможно представить, чтобы персонализированный предмет тем самым не утрачивал свою техническую оптималь­ность. А главной причиной здесь является сам строй произ­водства, который безудержно стимулирует потребление с помощью несущественных различий.

Так, чтобы дать вам возможность выбрать *вашу* «ариадну», вам предлагается сорок две комбинации цветов, про­стая или двухцветная окраска, и, кроме самих автомашин, у торговца есть в продаже еще и ультраспециальные колпаки на колеса. Действительно, само собой разумеется, что имен­но такие «специфические» отличия проще всего усваивают­ся и, в свою очередь, запускаются в серию в промышлен­ном производстве. *Подобная вторичная серийность образу­ет моду.* В итоге все вещи оказываются моделями, и моделей больше не остается. А в глубине этих сменяющих друг друга малых серий происходит дискретный переход к сериям еще более малым, характеризующимся еще более мелкими, еще более специфическими различиями. Не остается более аб-

155

солютных моделей, которым резко противопоставлялись бы лишенные ценности серийные вещи. Ведь в таком случае не осталось бы и психологической основы для выбора, а зна­чит, и для системы культуры. По крайней мере, невозможна была бы такая система культуры, которая могла бы интег­рировать современное индустриальное общество в целом.

### ИДЕАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ

Каким образом эта система персонализации и интегра­ции приходит в движение? Через посредство того факта, что в «специфических» отличиях реальная серийность вещи непрестанно отрицается, отвергается во имя модели. Объек­тивно, как мы видели, такое отличие несущественно. Зача­стую в нем скрывается даже технический дефект1. Факти­чески это отличие «по недостатку». Однако переживается оно всякий раз как положительное отличие, как признак ценности, как отличие «по избытку». Поэтому нет необхо­димости, чтобы для каждой категории вещей существовали конкретные модели: некоторые вещи модели не имеют; до­статочно ничтожных, но всякий раз позитивно переживае­мых отличий, чтобы вещи словно серийным эхом отзыва­лись друг в друге, чтобы в них создавалась ориентация на модель — быть может, лишь подразумеваемую. Маргиналь­ные отличия служат двигателем серии и питают собой ме­ханизм интеграции.

Не следует мыслить себе серию и модель как два члена систематической оппозиции — в том смысле, что модель составляет как бы сущность, которая, разделяясь и размно­жаясь в понятии массовости, в конечном итоге превраща­ется в серию. При таком понимании модель представляла бы собой более конкретное, более плотное состояние вещи, в дальнейшем размениваемое и тиражируемое в созданной по его образу серии. Оппозиция «модели/серии» очень час­то подразумевает некий энтропический процесс, гомологич-

1 См. главу «Гаджеты и роботы», а также в данной главе, ниже, об упад­ке технического качества в серийных вещах.

156

ный процессу деградации высших форм энергии и их пре­вращения в тепло. Подобной дедуктивной концепцией се­рии, выводящей ее из модели, скрадывается реально пере­живаемый факт — ибо движение постоянно идет в прямо противоположном направлении, по индуктивному пути со­здания модели из серии; это не деградация (в которой было бы и невозможно жить), а стремление ввысь.

В самом деле, мы видим, что модель повсеместно присутст­вует в серии, в самом ничтожном «специфическом» различии, отделяющем одну вещь от другой. Тот же самый процесс мы отмечали в коллекционировании, когда каждый элемент собрания несет в себе относительное отличие, которое на ка­кой-то миг делает его привилегированным, образцовым эле­ментом, но при этом все эти относительные отличия отсыла­ют друг к другу и резюмируются в различии абсолютном, а фактически *лишь в идее* абсолютного различия, которая и есть Модель. Модель одновременно и существует и нет. «Фасель-вега» существует вполне реально, но всевозможные различия в окраске и в объеме цилиндров в конечном счете отсылают лишь к идее «фасель-веги». *Это главное: модель должна быть лишь идеей модели.* Именно это позволяет ей присутствовать в любом относительном отличии и тем самым вбирать в себя всю серию. Реальным своим присутствием «фасель-вега» пол­ностью разрушила бы «персонализированное» удовлетворение от любой другой машины. Если же мыслить ее лишь идеаль­но, то тем самым, напротив, создается алиби — движущая сила персонализации для тех вещей, которые как раз не являются «фасель-вегой». Модель не бедна и не богата: это родовой об­раз, созданный воображаемым усвоением всех относительных отличий, и его фасцинация порождается самим процессом са­моотрицания серии через последовательные отличия, процес­сом интенсивной циркуляции, многократно повторяемой от­сылки к чему-то иному, бесконечной подстановки; это фор­мальная идеализация процесса превосхождения. В модели интегрируется и концентрируется весь заряд эволютивного процесса серии.

С другой стороны, именно потому, что модель — это лишь идея, и становится возможным сам процесс персонализа-

157

ции. Наше сознание не могло бы персонализироваться в отдельной вещи, это абсурдно, — оно персонализируется в отличии, поскольку отличие, отсылая к некоторой идее аб­солютной единичности (к «Модели»), делает возможной од­новременную отсылку и к реальному означаемому, то есть к абсолютной единичности пользователя и покупателя или же, как мы видели выше, коллекционера. Итак, парадоксаль­ным образом через посредство смутной и общей для всех идеи каждый начинает чувствовать себя абсолютно уникаль­ным. И обратно, непрерывно подчеркивая свою уникаль­ность через репертуар серийных отличий, мы поддержива­ем тот воображаемый консенсус, который и является идеей модели. Персонализация и интеграция идут строго рука об руку. В этом и заключается *волшебство системы.*

### ОТ МОДЕЛИ К СЕРИИ

#### Технический дефицит

Проанализировав формальную игру отличий, посред­ством которой серийная вещь предстает и переживается как модель, пора теперь подвергнуть анализу и то, чем *реально* отличается модель от серии. Действительно, система вос­ходящего движения, основанная на ценностном осмысле­нии отличий, отсылающих к *идеальной модели,* конечно же маскирует собой реальный обратный процесс — массовую деструктурацию и качественный упадок серийных вещей по сравнению *с моделью реальной.*

Из всех факторов неполноценности, которой страдает серийная вещь, наиболее бросаются в глаза ее недолговеч­ность и низкое техническое качество. Задачи персонализа­ции вкупе с задачами производства ведут к умножению ак­сессуаров за счет собственно потребительной стоимости предмета. Игра модных нововведений прежде всего непре­менно делает вещь менее прочной и более эфемерной. Такая тактика специально подчеркнута у Паккарда (цит. соч., с. 63): «Можно преднамеренно ограничить срок службы той или иной вещи или сделать ее негодной для пользования;

158

для этого можно воздействовать либо на ее функцию (с по­явлением новой, технологически более совершенной вещи она оказывается морально устаревшей — но это является прогрессом), либо на ее качество (по истечении некоторого срока, как правило весьма краткого, вещь ломается или из­нашивается), либо на ее образ (вещь преднамеренно выво­дится из моды, теряя привлекательность, хотя и по-преж­нему сохраняя свои функциональные качества)...»

Два последних аспекта этой системы взаимосвязаны: уско­ренное обновление моделей уже само по себе влияет на каче­ство вещей — чулки выпускаются всевозможных расцветок, зато худшими по качеству (или урезаются средства на технологические разработки, чтобы зато финансировать рек­ламную кампанию). Если же управляемых флуктуации моды окажется недостаточно для обновления покупательского спроса, то прибегают к искусственной дисфункционализации, к «намеренным конструктивным дефектам». Брук Сти­вене: «Всем известно, что мы намеренно сокращаем срок жизни своей продукции, и такая политика лежит в основе всей нашей экономики» (Паккард, с. 62). В предельном случае не было бы лишено смысла даже представить себе, подобно Оливеру Уэнделлу, «такой тщательно продуманный чудо-ав­томобиль, который сам собой разваливался бы в некий зара­нее вычисленный день» (там же, с. 65). Недаром в американ­ских автомобилях некоторые детали рассчитаны на пробег лишь в шестьдесят тысяч километров. Как признаются по сек­рету сами производители, большинство серийных вещей мог­ли бы делаться гораздо более высокого качества при пример­но равных производственных издержках — «искусственно не­долговечные» детали стоят столько же, сколько и нормальные. *Однако вещь не должна ускользать от моды и эфемерности.* Та­кова основополагающая характеристика серии — в ней вещь обречена на организованную непрочность. В мире изобилия (относительного) *фактором нехватки служит не редкость вещей, а их недолговечность.* Серийные вещи насильственно заключены в рамки краткосрочной синхронии, в область бренного. *Вещь не должна ускользать от смерти.* Нормаль­ному влиянию технического прогресса, стремящегося погло-

159

тить эту смертность вещей, противодействует стратегия про­изводства, стремящаяся поддержать ее1. Специалисты по сбы­ту говорят об особой «стратегии желания» (Дихтер), но здесь можно говорить и о стратегии фрустрации; та и другая вза­имно дополняют друг друга, утверждая в качестве исключи­тельной цели производство — оно выступает ныне как выс­шая, трансцендентная инстанция, властная не только над жизнью вещей, но и над их смертью2.

Напротив, модель имеет право на долговечность (разу­меется, относительную, так как она тоже включена в цикл ускоренного обновления вещей). Она имеет право быть прочной и «надежной». Парадоксальным образом она се­годня преобладает как раз в том плане, где традиционно как будто господствовала серийность, — в плане потребитель­ной стоимости. Такое ее достоинство накладывается на до­стоинство модности, технические качества накладываются на качества формы, и все вместе это и создает повышенную «функциональность» модели.

#### Дефицит «стиля»

При переходе от модели к серии параллельно с ухудше­нием технических качеств вещи утрачиваются и ее непос­редственно чувственные качества. Например, качество ма­териала: фирма «Эрборн» продает кресла из стали и кожи, у «Дюбонбуа» они будут из алюминия и дерматина. В инте­рьере-модели полупрозрачная перегородка делается из стек­ла, в серийном интерьере — из пластмассы. Вместо мебели из ценных древесных пород — мебель, облицованная шпо­ном. Платье из высококачественной шерсти или из шелка диких шелкопрядов, тиражированное в конфекции, изго­товляется уже из смесевой ткани или из искусственного

1 Конечно, такая тенденция должна была бы сдерживаться игрой кон­куренции. Но в обществе монополизированного производства (США) реальной конкуренции давно уже не существует.

2 Следует, однако, признать, что такая циничная стратегия действует не сама по себе — психологически в ней соучаствует и потребитель. Многие были бы удручены, если бы им пришлось по двадцать-тридцать лет подряд пользоваться одной и той же машиной, пусть даже полностью удовлетво­ряющей все их потребности. На этот счет см. главу «Гаджеты и роботы».

160

шелка. Вместе с материалом вещь утрачивает вес, упругость, фактуру, «теплоту», и такой утратой в различных пропорци­ях обозначаются дифференциальные отличия. Модель со­вершенно по-другому воспринимается на ощупь, что сбли­жается и с ее глубинными качествами, — тогда как качества визуальные, цвет и форма, имеют тенденцию более легко переноситься в серию, так как они легче включаются в игру маргинальных отличий.

Но, конечно, форма и цвет, переходя в серию, тоже не остаются неизменными. Им начинает недоставать завершенности и самобытности — даже будучи перенесены с безупречной точностью, формы незаметно утрачивают свою оригинальность. Таким образом, недостаток серийных вещей — не столько в материале, сколько в определенной взаимосвязи между материалом и формой, определяющей завершенность модели. Эта взаимосвязь, то есть комплекс закономерных отношений, оказывается разрушенной ради игры отличий в формах, красках и аксессуарах. На место стиля приходит комбинаторика. Отмеченное нами в плане техническом снижение качества принимает здесь характер деструктурации. В модели нет ни деталей, ни игры деталей: все «роллс-ройсы» черные и только черные1. Это вещь «вне серии», «вне игры» — игра возникает лишь вместе с «персо­нализированными» вещами, расширяясь пропорционально их серийности (тогда-то для одной и той же марки можно найти пятнадцать-двадцать разных окрасок), пока мы не дойдем до порога чистой орудийности, где игра вновь исче­зает (все малолитражки «2 CV» долгое время выпускались серого цвета — то есть, собственно говоря, вообще бесцвет­ными). Модель наделена гармонией, единством, однород­ностью, в ней взаимосвязаны пространство, форма, веще­ство, функция — они образуют развитый синтаксис. Серий­ная вещь делается по принципу примыкания, случайного комбинирования элементов, ее дискурс нечленоразделен. Ли­шенная целостности, она представляет собой лишь сумму де­талей, которые механически включаются в параллельные се-

1 Или серые — но это та же самая «моральная» парадигма (ср. с. 38).

161

рии. Допустим, некое кресло уникально сочетает в себе ры­жую кожу и черный металл, уникально по своим очертаниям и по организации окружающего пространства. В соответству­ющем ему серийном кресле кожа будет заменена пластиком, ее рыжеватый оттенок исчезнет, вороненое железо будет за­менено алюминиевым сплавом или гальванопластикой, объе­мы окажутся смещены, единство линий разорвано, а про­странство — скукожено: тем самым весь предмет в целом ут­рачивает структуру; по своей субстанции он включается в серию вещей из кожзаменителя; его рыжий цвет становится каштановым цветом тысяч других кресел, его ножки делают­ся неотличимы от любых ножек из трубчатого железа, и т.д.; от вещи остается лишь компиляция деталей, скрещение раз­личных серий. Другой пример: роскошный автомобиль уни­кального красного цвета; «уникальность» означает здесь не только то, что такого красного цвета больше нигде не найти, но и то, что он образует одно целое со всеми другими каче­ствами машины — она не то чтобы «еще и красная». Но стоит красному цвету более «коммерческой» модели стать чуть-чуть иным, как сразу оказывается, что это цвет тысяч других ма­шин, — и он тут же низводится до уровня детали, аксессуара; машина «вдобавок еще и красная», поскольку она могла бы быть зеленой или черной.

#### Классовая рознь

Сказанное выше помогает точнее понять, в чем суть раз­рыва между моделью и серией. Модель отличается даже не столько своей взаимосвязанностью, сколько нюансами. Ныне мы видим, как в серийные интерьеры пытаются вне­сти «стильность», стремятся «привить массам хороший вкус». Как правило, приводит это к одноцветности и одностильности: «Покупайте барочный гостиный гарнитур!», или голубую кухню, и т.д. То, что выдается здесь за «стиль», на самом деле лишь стереотип, лишенная всяких нюансов генерализация той или иной частной детали или того или иного частного аспекта. Дело в том, что *нюанс (в рамках целого)* составляет принадлежность одних лишь моделей, тогда как в серии бывают *отличия (врамках единообразия).*

162

Нюансы бесконечны, это все новые и новые модуляции, изобретаемые в рамках свободного синтаксиса. Отличия же ограничены по количеству и порождаются системати­ческим перебором вариантов одной и той же парадигмы. Не следует обманываться: кажется, что нюансы редки, а маргинальных отличий бесчисленно много, но это про­сто потому, что отличия массово тиражируются, — струк­турно же неисчерпаемы именно нюансы (в этом отноше­нии вещь-модель тяготеет к художественному произведе­нию), тогда как серийные отличия осуществляются в рамках замкнутой комбинаторики, таблицы вариантов, которая хоть и меняется постоянно с движением моды, но, будучи рассмотрена в любой синхронический момент, остается ограниченной и жестко подчиненной диктату производства. В конечном счете огромному большинст­ву покупателей предлагается в форме серий весьма ограниченный набор вариантов — тогда как ничтожному меньшинству доступна бесконечная нюансированность моделей. Для большинства закрытый (пусть и сколь угод­но обширный) каталог фиксированных, или наиболее ве­роятных, элементов — для меньшинства же множествен­ность шансов. Для большинства кодифицированный пе­речень значений — для меньшинства всякий раз новые изобретения. Таким образом, мы здесь имеем дело с клас­совым статусом и классовыми различиями.

Серийная вещь избыточностью вторичных черт компен­сирует утрату своих фундаментальных качеств. В ней до­полнительный эффект приобретают краски, контрасты, «со­временные» линии; в ней подчеркивается современность в тот самый момент, когда модели от нее уже отходят. Модель сохраняет в себе вольное дыхание, скромность и «естествен­ность» как высшее достижение культуры, серийная же вещь порабощена своим императивом неповторимости; в ней проявляется скованная культурность, оптимизм дурного вкуса, примитивный гуманизм. У нее свое классовое пись­мо, своя риторика — как есть она и у модели, где она ха-

163

рактеризуется скромностью, неброской функциональнос­тью, совершенством и эклектизмом1.

Еще один аспект этой избыточности — накопительство. В серийных интерьерах всегда слишком много вещей; а по­скольку вещей слишком много, то пространства слишком мало. Дефицитность вещей вызывает в качестве реакции их скученность, переуплотненность. А утрата качества вещей компенсируется их количеством2. Напротив, модель обла­дает пространством — ни слишком близким, ни слишком далеким. Интерьер-модель структурируется своими относи­тельными дистанциями, он тяготеет скорее к обратной из­быточности — к коннотативной пустоте3.

#### Привилегия актуальности

Еще одно отличие модели от серии — отличие по време­ни. Мы уже видели, что серийную вещь делают недолговеч­ной. Как в слаборазвитых обществах человеческие поколе­ния, так и в обществе потребления — поколения вещей ско­ро умирают, уступая место другим; изобилие хоть и растет, но лишь в рамках рассчитанного недостатка. Однако это вопрос технической долговечности вещей. Другой вопрос — их актуальность, переживаемая в моде.

Уже краткий социологический анализ старинных вещей показывает нам, что их рынок регулируется теми же самыми законами и организуется по той же, в общем, системе «модель/ серия», что и рынок «промышленных» изделий. Мы видим,

1 В такой системе оба составных члена неизбежно начинают конноти­ровать друг друга, становясь избыточными. С другой стороны, именно такая избыточность дополнительных значений и составляет способ пси­хосоциологического переживания данной системы, которая никогда не является (как может показаться при ее описании) чистой системой струк­турных оппозиций.

2 В то время как буржуазная традиция, по сути своей склонная к избы­точности (дом должен быть как полная чаша), предрасполагает к накоп­лению вещей, более «функциональные» контуры современной обстанов­ки ему противоречат. Таким образом, в современном серийном интерьере сверхзаполненность пространства представляет собой еще большую не­последовательность, чем в интерьере традиционном.

1 См. с. 67—69: «Формальная коннотация».

164

что в мешанине всех стилей мебели от барокко до чиппен­дейла, включая и столы в стиле Медичи, и стиль модерн, и псевдокрестьянский стиль, — что в этой гамме «градуирован­ных» эффектов чем богаче и образованнее человек, тем выше он метит в своей «персональной» инволюции. В регрессии тоже есть свой «стэндийг», и человек, в зависимости от сво­их средств, может позволить себе иметь либо подлинную, либо поддельную греческую вазу, или римскую амфору, или испанский кувшин. В сфере вещей старина и экзотика об­ретают социальный показатель — они измеряются образо­ванностью и доходами. У каждого класса свой собственный музей старинных вещей: богатые приобретают у своего ан­тиквара предметы средневековья, семнадцатого века или же Регентства, образованный средний класс собирает у пере­купщиков с блошиного рынка буржуазную рухлядь впере­мешку с «подлинной» крестьянской, а то и «псевдокресть­янской», специально изготовленной для нужд третичного сектора (фактически это мебель сильно обуржуазившегося крестьянства предшествующего поколения, плюс провинци­альные «стили», а в общем, сборная солянка всего на свете, не поддающаяся датировке, с отдельными воспоминаниями о «стиле»). Одни только рабочие и крестьяне в значитель­ной своей массе до сих пор еще не полюбили старину. Им не хватает для этого ни досуга, ни денег, а главное — они еще не участвуют в процессе аккультурации, которым охва­чены остальные классы (они не отвергают этот процесс осоз­нанно, а просто не попадают в него). В то же время не любят они и «экспериментальный» модерн, «творчество», авангард. Их домашний музей обычно ограничивается простейшими по­брякушками — фаянсовыми и керамическими зверюшками, украшениями, чашками, фотографиями в рамках и т.д., — при­чем вся эта галерея лубочной культуры вполне может сосед­ствовать с новейшей бытовой техникой. Но от этого отнюдь не ослабевает императив «персонализации», действующий для всех одинаково. Просто каждый заходит в регрессии так далеко, как может. Смысл создается отличиями, в данном слу-

165

чае культурными, а они стоят денег. Как и в актуальной моде, в культурной ностальгии есть свои модели и серии.

Если задаться вопросом, что в этом наборе вариантов рас­сматривается как полноценная стильность, то окажется, что это либо крайний авангардизм, либо отсылающий к былому аристократизм: либо вилла из стекла и алюминия с эллипти­ческими очертаниями, либо замок XVIII века, либо идеаль­ное будущее, либо дореволюционное прошлое. Напротив, чистая серия как немаркированный член оппозиции распо­лагается не совсем в актуальной современности (которая, наряду с будущим, составляет достояние авангарда и моде­лей), но и не в давнем прошлом, составляющем исключитель­ную принадлежность богатства и образованности, — ее вре­менем является «ближайшее» прошлое, то неопределенное прошлое, которое, по сути, определяется лишь своим времен­ным отставанием от настоящего; это та межеумочная темпо­ральность, куда попадают модели вчерашнего дня. Подобная смена быстрее происходит в модной одежде: секретарши в нынешнем году носят платья, скопированные с высокой моды прошлого сезона. В области мебели наиболее широко тиражируется то, что было в моде несколько лет или целое поколение назад. Время серии — это время пятилетнего за­поздания; таким образом, большинство людей в том, что ка­сается мебели, живут не в своем времени, но во времени обоб­щенно-незначимом; это время еще не современности и уже не старины, и ему, вероятно, никогда и не стать стариной; такому понятию времени соответствует в пространстве без­ликое понятие «пригорода». В сущности, серия по отноше­нию к модели есть не просто утрата уникальности, стиля, нюанса, подлинности, — она представляет собой утрату вре­мени в его реальном измерении; она принадлежит некоему пустому сектору повседневности, к негативной темпораль­ности, которая механически питается отходами моделей. Дей­ствительно, одни только модели меняются, а серии лишь идут следом за своей моделью, которая всегда их опережает. Имен­но этим они по-настоящему нереальны.

166

#### Личность в беде

По словам Рисмена (цит. соч., с. 76), «наибольшим спро­сом пользуется ныне не сырье и не машина, а личность». Действительно, современный потребитель, в том контексте обязательной подвижности, который возникает в рамках схемы «модель/серия» (в свою очередь составляющей лишь аспект более широкой структуры социальной подвижности и стремлений к повышению своего статуса), буквально *при­нужден* осуществляться как личность. В нашем случае та­кая принудительность еще и содержит в себе парадокс: ведь очевидно, что в акте персонализированного потребления субъект, от которого требуется быть *субъектом,* всего лишь производит сам себя как *объект* экономического спроса. Его проект, заранее отфильтрованный и раздробленный социо-экономической системой, опровергается тем самым жестом, которым его стремятся осуществить. Поскольку «специфи­ческие отличия» производятся в промышленном масштабе, то доступный субъекту выбор изначально фиксирован — ос­тается лишь иллюзия личностного несходства. Стремясь внести в вещь нечто такое, что сделает ее единственной, сознание само же и овеществляется в этой детали. Таков па­радокс отчуждения: живой выбор воплощается в мертвых различиях; прибегая к ним, наш проект становится самоот­рицающим и несбыточным.

Такова идеологическая функция системы: она дает нам всего лишь игру в повышение социального статуса, посколь­ку любые отличия изначально интегрированы в систему. В нее интегрировано, как фактор постоянного убегания впе­ред, даже проходящее через нее разочарование.

Можно ли здесь говорить об отчуждении? В целом сис­тема управляемой персонализации переживается огромным большинством потребителей как свобода. Только при кри­тическом рассмотрении такая свобода окажется чисто фор­мальной свободой личности, а персонализация обернется, по сути, ее бедой. Даже там, где рекламная игра мотиваций развертывается вхолостую (различные марки для одного и того же товара, чисто иллюзорные отличия, вариации офор-

167

мления и т.д.), где в выборе изначально заложен подвох, — приходится все же признать, что и самые поверхностные отличия, будучи расценены как реальные, таковыми и ста­новятся. Как можно опровергнуть удовлетворение, которое получает человек, покупая мусорную корзину в цветочках или же «антимагнитную» бритву? Никакая теория потреб­ностей не позволит нам предпочесть одно реально пережи­ваемое удовлетворение другому. Коль скоро императив лич­ностной ценности столь глубок, что, за неимением лучше­го, воплощается в «персонализированной» вещи, то каким образом, во имя какой «подлинной», сущностной ценности можно отрицать такой процесс?

#### Идеология моделей

Вся эта система опирается на демократическую идеоло­гию, притязает быть одним из показателей социального прогресса: это-де возможность для всех мало-помалу при­общиться к миру моделей, и в ходе такого восходящего движения в обществе социальные слои один за другим под­нимаются ко все большему материальному изобилию, по ступеням «персонализированных» отличий все более при­ближаются к абсолютной модели. Однако:

1) В нашем обществе «потребления» мы все более далеко отходим от равенства по отношению к вещи. Само понятие модели в конкретном своем воплощении скрывается во все более тонких и неуловимых отличиях — в той или иной дли­не юбки, в том или ином оттенке красного, в том или ином качестве стереофонического звучания, в нескольких неде­лях временного разрыва между высокой модой и ее тира­жированием в магазинах «Призюник»; факторы сугубо эфе­мерные, но стоят они очень дорого. Иллюзия равенства воз­никает оттого, что все вещи подчиняются одному и тому же императиву «функциональности». Но за такой формальной демократизацией их культурного статуса кроются, как мы видели, еще более серьезные факторы неравенства — ведь они затрагивают самое реальную суть вещи, ее техническое качество, субстанцию, долговечность. Привилегии моделей перестали быть институциональными, они как бы внедри-

168

лись в душу людей, но от этого обрели лишь еще большую устойчивость. Подобно тому как после буржуазной револю­ции разные классы общества отнюдь не восходят постепенно к политической власти — так же и потребители со времен революции промышленной никак не дойдут до состояния равенства по отношению к вещам.

2) Иллюзией было бы принимать модель за некую иде­альную точку, которой серия вот-вот достигнет. Вещи, ко­торыми мы владеем, освобождают нас лишь в качестве вла­дельцев, отсылая к бесконечной свободе владеть другими вещами; нам остается лишь карабкаться вверх по лестнице вещей, но такой подъем не дает никакого выхода, посколь­ку именно им и питается абстрактная недостижимость мо­дели. Так как модель, по сути своей, лишь идея, то есть не­которая *внутрисистемная трансцендентность,* она способ­на к бесконечному прогрессу, всецело и все дальше убегая вперед; отождествляясь со всей системой, она остается не­уловима. Нет ни малейшего шанса, что модель превратится в серию, не будучи при этом заменена новой моделью. Сис­тема в целом прогрессирует, но модели, сменяя друг друга, никогда не бывают превзойдены как модели, а серии, сле­дуя одна за другой, никогда не бывают превзойдены как се­рии. Модели движутся быстрее, чем серии, они актуальны, тогда как серии тщетно пытаются их настичь, оставаясь где-то между прошлым и настоящим. Это стремление и разочарова­ние динамически оркестрируются на уровне производства, образуя ось, по которой и развертывается гонка за вещью.

Все происходит как бы по воле рока. Когда общество как целое начинает опираться и ориентироваться на модели, а производство — систематически дробить их на серии, марги­нальные отличия, комбинаторные варианты, в итоге делая вещи столь же эфемерными, как слова и образы; когда серийность, действуя как таблица склонения или спряже­ния, делает все строение общества парадигматичным, но в то же время необратимым (поскольку шкала социальных статусов зафиксирована раз и навсегда, а правила статусной игры одинаковы для всех), — то в такой управляемой кон­вергенции, в такой организованной неустойчивости, в та-

169

кой вечно нарушаемой синхронии уже нет больше места для негативности. Не остается открытых противоречий, струк­турных перемен, социальной диалектики. Ибо движение, которым, казалось бы, охвачена вся система, развивающая­ся по кривой технического прогресса, не мешает ей оста­ваться фиксированной и внутренне устойчивой. Все течет, все меняется у нас на глазах, все обретает новый облик, и однако перемен ни в чем нет. Подобное общество, увлекае­мое технологическим прогрессом, совершает грандиозные перевороты, но все они сводятся к повороту вокруг своей оси. Рост производства в нем не выливается ни в какую структурную перемену.

## II. Кредит

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Современные вещи являются нам под знаком дифферен­циации и выбора, а кроме того, главные из них предстают еще и под знаком кредита. И подобно тому как сама вещь вам продается, но выбор ее вам «предоставляется», точно так же вам «предоставляются» и льготные возможности оп­латы — как бы премия от имени всего строя производства. Кредит молчаливо рассматривается как одно из прав потре­бителя — по сути, как одно из экономических прав гражда­нина. Всякое ограничение кредита переживается как ущем­ляющая мера со стороны государства, запрет же кредита (аб­солютно, впрочем, немыслимый) переживался бы всем обществом как ликвидация некоторой свободы. В рекламе кредит служит решающим аргументом «стратегии желания», действующим наравне с любым другим достоинством вещи; среди мотиваций покупки он идет в одном ряду с выбором, «персонализацией» и рекламной легендой, тактически до­полняя последнюю. Психологический контекст один и тот же: серия дает нам возможность опережающего пользова-

170

ния моделью, а кредит — опережающего пользования ве­щами во времени.

Юридически система кредита касается как серийных ве­щей, так и моделей, и ничто не мешает вам купить себе «ягу­ар» в рассрочку. Тем не менее остается фактом и едва ли не неписаным законом, что роскошная модель оплачивается на месте, а вещь, купленная в кредит, вряд ли является мо­делью. Такова логика «стэндинга» — одной из привилегий модели является именно престижная расплата на месте, тог­да как оковы кредитных платежей еще прибавляют к той психологической неполноценности, которой отягощена се­рийная вещь.

Долгое время в силу своего рода застенчивости кредит воспринимался как некая нравственная опасность, тогда как расплата на месте относилась к числу буржуазных доброде­телей. Но подобные психологические сопротивления явно ослабевают. Они сохраняются лишь как пережитки тради­ционных понятий о собственности и затрагивают главным образом класс мелких собственников, верный представле­ниям об экономии и сохранности наследственного достоя­ния. Постепенно эти пережитки отомрут. Если раньше соб­ственность на вещь возникала до пользования ею, то теперь все наоборот; экспансия кредита, наряду с другими ее ас­пектами, выделенными Рисменом, проявляется в переходе от цивилизации «захватнической» к цивилизации пользо­вательской. Покупатель в кредит мало-помалу привыкает спокойно пользоваться вещью, как будто бы она уже «его». Просто время ее оплаты совмещается со временем ее амор­тизации: чем больше она выкуплена, тем меньше она стоит (как известно, американские фирмы иногда даже специаль­но рассчитывают так, чтобы эти два процесса завершались одновременно). При этом, следовательно, всегда есть риск, что вещь вследствие поломки или потери лишится ценнос­ти, еще прежде чем будет выкуплена. И хотя кредит, каза­лось бы, стал неотъемлемой частью нашего быта, но таким риском создается особый фактор ненадежности жизни, ко­торый всегда был чужд вещам «из семейного достояния». Те вещи были всецело моими — я за них расплатился; тогда

171

как вещь, приобретенная в кредит, станет моею лишь тогда, «когда будет оплачена», — это как бы предвосхищенное бу­дущее время.

Сроки платежей создают специфический страх, который постепенно превращается в некий теневой процесс, давя­щий на психику, при том что объективное отношение не доходит до сознания; страхом угнетена не непосредствен­ная житейская практика, а жизненный проект человека. Невыкупленная вещь убегает от вас во времени, она никог­да и не была вашей. И такое убегание вещи соответствует, на другом уровне, вечному убеганию серийной вещи, стре­мящейся настичь модель. Этим двойным убеганием вещей определяется их скрытая ненадежность, обманчивость, по­стоянно заключенная в окружающем нас предметном мире. В сущности, система кредита лишь высвечивает общие особенности наших отношений с вещами в современном контексте. Действительно, чтобы жить в кредит, не обяза­тельно закабалять себя месяцев на пятнадцать ради покуп­ки машины, холодильника и телевизора — закабаляющим фактором является уже и ось «модель/серия», с ее обязатель­ной нацеленностью на модель. Это путь социального воз­вышения, но одновременно и путь бессильных потуг. *Мы вечно отстаем от своих вещей.* Они здесь — и в то же время уже не здесь, а на год впереди, когда за них будет выплачен последний взнос и когда их уже заменит новая модель. Та­ким образом, благодаря кредиту лишь переводится в план экономики фундаментальная психологическая ситуация: в обоих случаях действует один и тот же закон принудитель­ной последовательности — в плане экономическом это че­реда выплат, в плане психосоциологическом ускоренная смена серий и моделей; и в том и в другом случае время, в котором мы переживаем свои вещи, изначально отягчено принуждением, долговыми обязательствами. Если кредит больше уже почти не вызывает к себе предубеждения, то это, возможно, означает, что в глубине души мы сегодня все вещи переживаем как приобретенные в кредит и воплощающие в себе некий наш долг по отношению к обществу в целом; про­сто эти долговые обязательства вновь и вновь пересматри-

172

ваются, их условия зыбки, а сами они хронически подвер­жены инфляции и девальвации. Точно так же как «персона­лизация» — отнюдь не просто рекламная уловка, но фунда­ментальное идеологическое понятие, так и кредит — отнюдь не просто экономический институт, но фундаментальное из­мерение всего нашего общества, его новая этика.

### ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: НОВАЯ ЭТИКА

На протяжении жизни одного поколения исчезли такие понятия, как «семейное достояние» и «постоянный капитал». Вплоть до прошлого поколения приобретенная вещь приоб­реталась в полную собственность, материализуя в себе выпол­ненный труд. Недалеки еще те времена, когда покупка столо­вого гарнитура или автомашины была венцом долгих усилий экономии. Человек трудился, мечтая что-нибудь приобрести; жизнь переживалась в пуританских понятиях усилия и возда­яния, зато если уж вещь имелась, значит, она была заработана, это квитанция о расчете с прошлым и залог будущего. Одним словом, это капитал. Сегодня же вещи появляются у нас, еще не будучи заработаны, предваряя собой воплощенную в них сумму трудовых усилий, *их потребление как бы опережает их производство.* Я лишь пользуюсь ими и, конечно же, больше не отвечаю за них как за фамильное достояние — они не были мне никем завещаны, и я их никому не оставлю. Они стесня­ют мою свободу в другом: пока я их не оплачу, они как бы под­вешены надо мной. Я больше не соотношусь через них с семь­ей или иной традиционной группой, зато оказываюсь в соотношении с обществом в целом и с его инстанциями (фи­нансово-экономическим строем, колебаниями моды и т.д.). Каждый месяц я вынужден их оплачивать, каждый год — об­новлять. А тем самым все меняется — их смысл в моих глазах, воплощаемый в них проект, их объективное будущее, а равно и мое собственное. Задумаемся: ведь на протяжении долгих веков новые и новые поколения людей сменялись в обстанов­ке одних и тех же вещей, которые их переживали, а ныне в пределах жизни одного индивида все быстрее сменяют друг

173

друга поколения вещей. Прежде человек был ритмической мерой вещей, теперь же сами вещи задают человеку свой дис­кретный ритм — внезапно и дискретно возникают, приходят в негодность или же, еще не успев состариться, уступают ме­сто другим. Тем самым вместе со способом существования и потребления бытовых вещей меняется и статус всей цивили­зации в целом. В патриархальном домашнем хозяйстве, ос­нованном на понятиях наследства и постоянного дохода, по­требление никогда не шло впереди производства. В полном согласии с картезианской, а равно и нравственной логикой, труд здесь всегда предшествует продукту труда как причина следствию. Такое аскетическое накопительство, слагавшее­ся из предусмотрительности, умения поступаться своими же­ланиями, удовлетворять свои потребности своими личными усилиями, — такая цивилизация экономии пережила свой ге­роический период, обретя свой итог в анахронической фигу­ре рантье, да еще и рантье разорившегося, которому XX век преподал исторический урок никчемности традиционной морали и экономического расчета. Целые поколения людей, стараясь жить по средствам, в результате оказались на гораз­до более низком уровне жизни, чем позволяли их средства. Об этой эре труда, личной заслуги и накопления — доброде­телей, находящих высшее выражение в понятии собственно­сти, еще напоминают нам сохранившиеся от нее вещи, слов­но призраки потерянных поколений прошлого в мелкобур­жуазных интерьерах.

### ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ПОКУПКИ

Ныне родилась новая мораль: мораль опережающего потребления по отношению к накоплению, мораль убега­ния вперед, форсированного инвестирования, ускоренного потребления и хронической инфляции (копить деньги ста­новится бессмысленно); отсюда берет начало вся современ­ная система, где вещь сначала покупают, а затем уже выку­пают своим трудом. Благодаря системе кредита мы возвра­щаемся к сугубо феодальным отношениям, когда известная часть труда изначально принадлежит помещику, то есть к

174

системе закрепощенного труда. Однако, в отличие от фео­дальной, наша система основана на своеобразном сообщ­ничестве: современный потребитель непроизвольно интериоризирует и принимает как должное то бесконечное при­нуждение, которому он подвергается, — обязанность покупать, чтобы общество продолжало производить, а сам он мог работать дальше, дабы было чем заплатить за уже купленное. Это прекрасно выражено в лозунгах американ­ской рекламы (Паккард, с. 26):

«Делать покупки — значит сохранять работу! Делать покупки — значит обеспечивать свое будущее!

От каждой сделанной покупки становится меньше одним без­работным — быть может, ТОБОЙ!

Купи свое процветание сегодня, и ты будешь иметь его завтра!»

Действует любопытный иллюзионизм: общество креди­тует вас ценой формальной свободы, а на деле вы сами его кредитуете, отчуждая в его пользу свое будущее. Разумеет­ся, прежде всего строй производства живет эксплуатацией рабочей силы, но сегодня он получает поддержку еще и от этой круговой поруки, от этого сотрудничества, в котором самая зависимость переживается как свобода, а следователь­но, обособляется в устойчивую систему. В каждом человеке уживаются потребитель, сообщник строя производства, и никак не связанный с ним производитель — жертва этого строя. Такая разобщенность производителя и потребителя составляет главную силу интеграции: все делается для того, чтобы она ни в коем случае не приняла живой критической формы противоречия.

### ВОЛШЕБСТВО ПОКУПКИ

Действительно, кредит, равно как и реклама, обладает спо­собностью производить раздвоение в покупке и ее объектив­ных определяющих факторах. Покупать в кредит — значит приобретать целую вещь за часть ее реальной стоимости.

175

Минимальный вклад — и грандиозная прибыль. Платежи по рассрочке растворяются в отдаленном будущем, и кажется, будто вещь приобретена ценой лишь чисто символического жеста. Это поведение сходно с мифоманией, когда человек, рассказав о себе какую-нибудь небылицу, добивается непро­порционально высокого уважения в глазах собеседника. При минимальных реальных затратах он получает чрезвычайную выгоду — пользуется реальным почетом, по сути, ценой ус­ловного знака. Он тоже живет в кредит, за счет чужой довер­чивости. И если в нормальной практике трансформация ре­ального мира идет от труда к его продукту, на чем традицион­но и основываются в плане времени как логика познания, так и бытовая логика вещей, — то ее инверсия, опережающее пользование вещами, есть не что иное, как магический про­цесс. При покупке в кредит человек одновременно с приоб­ретаемой вперед вещью поглощает и принимает на свой счет миф о магической функциональности общества, способного предоставить ему такие возможности немедленной реализа­ции желаний. Конечно, очень скоро он столкнется с соци­ально-экономической реальностью, так же как и мифоман рано или поздно столкнется с необходимостью показать себя в той роли, которую он самозванно себе присвоил. Разобла­ченный самозванец либо терпит крах, либо выходит из поло­жения с помощью новой небылицы. Так и для покупателя в кредит неизбежно наступают сроки платежа, и весьма веро­ятно, что для психологического облегчения он станет поку­пать себе в кредит что-нибудь еще. Правилом такого рода по­ведения является убегание вперед, и в обоих случаях замеча­тельнее всего то, что причинно-следственная связь никогда не ощущается — ни для мифомана между рассказанной ис­торией и пережитой неудачей (из которой он не извлекает никакого урока реальности), ни для покупателя в кредит меж­ду магически даровой покупкой и необходимостью в даль­нейшем за нее расплачиваться. Система кредита тем самым доводит до предела безответственность человека перед самим собой: покупатель отчуждает плательщика, и хотя фактически это один и тот же человек, система, разводя их во времени, делает так, что это остается им не осознано.

176

### ДВОЙСТВЕННОСТЬ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ

В целом можно сказать, что кредит, якобы способствую­щий образованию современной цивилизации пользовате­лей, наконец избавленных от гнета собственности, создает, напротив того, целую систему интеграции, где социальная мифология смешивается с грубым экономическим угнете­нием. Кредит — это не только мораль, но и политика. Так­тика кредита, вкупе с тактикой персонализации, сообщает вещам неведомую прежде социополитическую функцию. Прошли времена крепостничества и ростовщичества — эти формы зависимости абстрагировались и получили еще боль­ший размах в кредите, составляющем особое измерение об­щества, времени и вещей. Через него и через порождаемую им стратегию вещи начинают играть роль ускорителя и мно­жителя задач, потребностей и расходов; они становятся чем-то вроде автомобильного тренажера — самая их неподвиж­ность превращается в центробежную силу, внося в нашу по­вседневную жизнь ритм убегания вперед, незавершенности и нестабильности.

И если раньше домашний мирок всегда сосредоточивался в вещах, стремясь ускользнуть от жизни социальной, то те­перь он, напротив, оказывается через их посредство прико­ван к структурам и условиям социального мира. Через кре­дит — систему бесплатного одаривания и формальной сво­боды, которая одновременно внедряет в сердце вещей социальную санкционированность, зависимость и фаталь­ность, — домашний быт получает прямую нагрузку: в нем появляется социальное измерение, но только не на благо, а во зло. Там, где кредит доходит до своего абсурдного преде­ла (когда, например, из-за платежей за машину не остается денег на бензин, чтобы на ней ездить), то есть до той край­ней точки, где человеческий проект, отфильтрованный и раздробленный экономическим принуждением, пожирает сам себя, — там проявляется основополагающая истина нынешнего строя: *вещи здесь предназначены вовсе не для того, чтобы ими владели и пользовались, но лишь для того, чтобы их*

177

*производили и покупали.* Иными словами, они не структури­руются в интересах наших потребностей или же для более рациональной организации мира, *a* систематизируются ис­ключительно в интересах определенного строя производства и идеологической интеграции. Фактически, в строгом смыс­ле слова, вещи перестали быть частным достоянием людей — чем больше они применяются, тем более завладевает ин­тимным миром потребителя и его сознанием, при его же собственном сообщничестве, весь социальный строй произ­водства. При столь глубокой психической нагруженности людей его структурами становятся невозможными его эф­фективная критика и преодоление.

## III. Реклама

### ДИСКУРС О ВЕЩАХ И ДИСКУРС-ВЕЩЬ

Анализируя систему *вещей,* следует проанализировать наконец и дискурс *о вещи,* «послание», заключенное в рекла­ме (речевой и образной). Действительно, реклама не есть некое приложение к системе вещей, ее нельзя отделить от си­стемы или даже ограничить ее «правильными» пределами (рекламой чисто информативной). Именно диспропорцио­нальность позволила ей стать непреложным фактором дан­ной системы, которую она в этом своем качестве «функцио­нально» венчает. В общем и целом реклама — это мир ненуж­ного, несущественного, мир чистой коннотации. Она никак не участвует в производстве и непосредственном примене­нии вещей, и однако она входит неотъемлемой частью в их систему — не только потому, что в ней идет речь о потребле­нии, но и потому, что она сама становится предметом потреб­ления. Следует четко различать этот ее двойственный статус: она является и дискурсом о вещи, и собственно вещью. И именно в качестве ненужного, несущественного дискурса она и оказывается пригодной к употреблению как предмет культу­ры. Соответственно в ней налицо все аспекты системы, про­анализированной выше на уровне вещей: персонализация,

178

форсированная дифференциация и умножение несуществен­ных отличий, деградация технических структур в пользу структур производства и потребления, функциональные на­рушения и вторичные функции, — вся эта система обретает в рекламе окончательную автономию и завершенность. В силу почти исключительно вторичного характера своей функции, в силу высокой степени аллегоричности своих образов и слов реклама образует идеальный, особо показательный предмет системы вещей. А в силу того, что, подобно всем сильно коннотированным системам1, она обращена сама на себя, она способна лучше всех сказать нам, что же именно мы потреб­ляем *через* вещи.

### РЕКЛАМНЫЙ ИМПЕРАТИВ И ИНДИКАТИВ

Реклама объявляет своей задачей сообщать о характерис­тиках того или иного товара и способствовать его сбыту. Такая «объективная» функция в принципе является и ее пер­вичной функцией2.

От информации реклама перешла ко внушению, затем к «незаметному внушению» (Паккард), ныне же ее целью является управлять потреблением; уже не раз высказывалось опасение, что это грозит тоталитарным порабощением че­ловека и его потребностей. Однако социологические опро­сы показали, что проникающая сила рекламы не столь ве­лика, как думают, — она очень быстро вызывает пресыще­ние и реакцию отталкивания (рекламы разных товаров взаимно нейтрализуют друг друга, а то и сами себя своей преувеличенностью). С другой стороны, рекламное внуше­ние имеет своим следствием всевозможные виды контрмо­тивации и психологического сопротивления, как рацио­нальные, так и иррациональные (реакция на пассивность

1 Например, моде (Р. Барт).

2 Не будем, однако, забывать, что в истории первыми предметами рек­ламы были чудодейственные лекарства, знахарские снадобья и тому по­добные штуки; то есть информация информацией, но в высшей степени тенденциозная.

179

— человек не хочет, чтобы им «владели», — на эмфазу, на по­вторяемость дискурса и т.д.); словом, рекламный дискурс ра­зубеждает не меньше, чем убеждает, и потребитель, по-види­мому, если и не приобрел иммунитет к его сообщениям, то во всяком случае достаточно свободен по отношению к ним.

С учетом всего этого мы не должны обманываться эксплицитной функцией рекламы: она внушает потребите­лю не ту или иную конкретную марку («Омо», «Симка» или «Фрижидер»), а нечто более фундаментально важное для всего общественного строя, нечто, по отношению к чему «Омо» или «Фрижидер» составляют лишь алиби.

Подобно тому как функция вещи в предельном случае может оказаться лишь алиби для тех скрытых значений, что ею внушаются, — подобным образом и в рекламе (тем бо­лее что это более чистая коннотативная система) именуе­мый и описываемый товар-десигнат становится алиби, и под прикрытием его наглядной очевидности осуществляется невидимая операция интеграции.

Сопротивляясь все лучше и лучше рекламному *импера­тиву,* мы зато делаемся все чувствительнее к рекламному *индикативу,* то есть к самому факту *существования* рекламы как вторичного потребительского товара и *очевидного* явле­ния определенной культуры. Именно в этой мере мы ей и «верим»: в ее лице мы вкушаем роскошь общества, явлен­ного нам как податель благ и «превзойденного» в культуре. В нас оказываются внедрены одновременно сама инстан­ция и ее образ.

### ЛОГИКА ДЕДА МОРОЗА

Те, кто протестует против порабощающей силы рекламы (и вообще «масс-медиа»), не понимают специфической ло­гики их воздействия. Это не логика тезиса и доказательства, но логика легенды и вовлеченности в нее. Мы в нее не верим, и однако она нам дорога. «Демонстрация» товара вообще-то никого ни в чем не убеждает; она оправдывает задним числом покупку, которая либо происходит до вся­ких рациональных мотиваций, либо не укладывается в их

180

рамки. И однако же, не «веря» в этот товар, я *верю рекламе, которая пытается заставить меня в него поверить.* Таков фе­номен Деда Мороза: дети ведь тоже не очень-то задаются вопросом, существует ли он на самом деле, и не устанавли­вают причинно-следственную связь между его существова­нием и получаемыми ими подарками; вера в Деда Мороза — это рационализирующая выдумка, позволяющая ребен­ку во втором детстве сохранить волшебную связь с роди­тельскими (а именно материнскими) дарами, которая была у него в первом детстве. Эта волшебная связь, фактически уже оставшаяся в прошлом, интериоризируется в веровании, которое служит ее идеальным продолжением. В таком вы­мысле нет ничего надуманного, он основан на *обоюдном* интересе обеих сторон поддерживать подобные отношения. Дед Мороз здесь не важен, и ребенок верит в него именно потому, что по сути он не важен. Через посредство этой фи­гуры, этой выдумки, этого алиби — в которое он будет ве­рить даже тогда, когда верить перестанет, — он усваивает игру в чудесную родительскую заботу и старания родителей способствовать сказке. Подарки Деда Мороза лишь скреп­ляют собой это соглашение1.

Действие рекламы имеет тот же характер. Решающее воз­действие на покупателя оказывает не риторический дискурс и даже не информационный дискурс о достоинствах това­ра. Зато индивид чувствителен к скрытым мотивам защи­щенности и дара, к той заботе, с которой «другие» его убеж­дают и уговаривают, к не уловимому сознанием знаку того, что где-то есть некая инстанция (в данном случае соци­альная, но прямо отсылающая к образу матери), которая берется информировать его о его собственных желаниях, предвосхищая и рационально оправдывая их в его собствен­ных глазах. Таким образом, он «верит» рекламе не больше,

1 Больным-психосоматикам врачи прописывают «плацебо» — биоло­гически нейтральные вещества. И нередко бывает, что от такого веще­ства, не обладающего никаким действием, больные поправляются не хуже, чем от настоящего лекарства. Что же принимают, что усваивают они че­рез эти «плацебо»? Идею медицины + присутствие врача. Одновременно мать и отца. В этом случае вера также помогает вновь обрести детское состояние и регрессивным путем изжить психосоматический конфликт.

181

чем ребенок верит в Деда Мороза. И это не мешает ему точ­но так же вовлекаться в интериоризированно-инфантильную ситуацию и вести себя соответственным образом. От­сюда проистекает вполне реальная действенность рекламы: ее логика — не логика внушения и рефлекса, а не менее стро­гая логика верования и регрессии1.

### ИНСТАНЦИЯ МАТЕРИ: КРЕСЛО «ЭРБОРН»

Иногда эта мифология открыто выражается в рекламном дискурсе2, как, например, в плакате фирмы «Эрборн» (крес­ла, диваны, стулья). Под шапкой «Настоящий комфорт не делается наскоро» (предостережение против легкости: ком­форт пассивен, а нужно сделать его активным, «создать» предпосылки для пассивности) следует текст, где с нажи­мом утверждается современность и научность данного про­изводства: «Хорошая мягкая мебель — это синтез четырех факторов: эстетики, комфорта, прочности, завершенности... Чтобы создать подобный шедевр, дедовские ремесленные навыки уже недостаточны. Хотя, разумеется, они необхо­димы и всегда прочно укоренены в самой глубине души ма­стеров-мебельщиков» (опора на прошлое, моральная надеж­ность: индустриальная революция свято блюдет и развива­ет старинные традиции), «но в наши дни хорошая мягкая мебель должна изготовляться согласно тем нормам и мето­дам, которым подчиняется мир современной экономики». (То есть данное кресло — не просто кресло, покупающий его должен чувствовать свою причастность к техническому обществу в целом — при том что «нормы» от него, конечно, скрыты; приобретение кресла делает его гражданином ин­дустриального общества.) «Наша компания («Эрборн»), со­здающая уют в тысячах французских семей, стала целой от­раслью промышленности, где имеются свои конструкторс-

1 Следовало бы распространить данный анализ на массовые коммуни­кации в целом, но здесь не место это делать.

2Но для действенного присутствия ей вовсе не обязательно быть вы­раженной прямо: она заявляет о себе и в любом рекламном образе.

182

кие бюро, инженеры и художники, а также машины, запа­сы сырья, гарантийное обслуживание, торговая сеть и т.д.» (потребитель должен в полной мере сознавать, что промыш­ленная революция свершилась в его интересах, что сегодня все общественные структуры сходятся в одной точке — в до­стоинствах вот этого кресла, а те, в свою очередь, находят свое завершение в его собственной личности. Так в его гла­зах создается стройное мироздание, ориентированное на высшую цель — доставить ему удовлетворение). Такая пер­спектива подтверждается и далее: «Хорошее кресло — это кресло, в котором все члены вашей семьи чувствуют себя удобно. Незачем приспосабливать его к вашему весу или росту — оно само должно сочетаться с формами вашего тела». (Незачем что-либо менять в обществе или в вас са­мих — ведь свершилась промышленная революция: теперь все техническое общество в целом приспосабливается к вам через посредство вот этого кресла, которое сочетается с фор­мами вашего тела.) Раньше моральные нормы требовали от индивида приспосабливаться к социальному целому, но то была ушедшая в прошлое идеология эры производства; в эру же потребления (ту, что выдает себя за таковую) все обще­ство в целом приспосабливается к индивиду. Оно не просто заботится о его нуждах, приспосабливается не просто к той или иной из них, но к его личности в целом: «Мебель «Эрборн» вы опознаете по тому, что здесь вы всякий раз сидите в *вашем* кресле, на *вашем* стуле, на *вашем* диване, с ощуще­нием уюта от мебели, сделанной по *вашей* мерке». Смысл этой краткой метасоциологии приспособленности таков: благодаря преданности и покорности данного кресла, его тайному сродству с вашей личностью вам предлагается за­одно верить и в преданность данного промышленника, его технических служб и т.д. В этом кресле, где ведь и впрямь можно усесться с удовольствием (оно действительно очень функционально), необходимо распознать сущность целого общества, всецело цивилизованного, поставленного на службу идее счастья — *вашего* счастья, — и от щедрот своих одаривающего каждого из своих членов средствами для са­моосуществления .

183

Этот идеологический дискурс находит свое продол­жение даже и там, где говорится о материале и форме мебели. «Новые материалы подчеркивают стиль нашей эпохи, — продолжает рекламный текст, — наша мебель после каменного и деревянного века переживает сейчас век стальной». «Сталь — это структура», и т.д. А ведь сталь хоть и благородный материал, но слишком жест­кий, слишком напоминающий об усилии, о необходи­мости для индивида приспосабливаться к нему, — но смотрите, как она преображается, покоряется нам, гуманизируясь вместе со «структурой» мебели: «Сталь прочна и нерушима, но в пружинистых подкладках она становится гибкой. Одетая в латекс, она становится мяг­кой и уютной. Она эстетична, так как совершенно соче­тается (опять!) с теплом современных тканей». Всякая структурность насильственна, всякая насильственность вызывает тревогу. В случае вещи это грозит подорвать со­отнесенность индивида с обществом. Чтобы сделать ре­альность безобидной, приходится заботиться о спокой­ном внешнем виде. Так происходит и с креслом, кото­рое как бы само собой, чтобы вам понравиться, из металлического делается текстильным, являя в себе об­раз силы и спокойствия. А под конец «структура» обле­кается, конечно, «эстетикой», торжествуя тем самым окончательное слияние вещи с «личностью». Здесь де­терминизм социальных отношений опять поглощается риторикой субстанций. В таком преображении структу­ры в форму, в ее умиротворенной жесткости, в просту­пающей повсюду схеме синтеза и «сочетания», объеди­няющей удовлетворенность с памятью о волевом усилии, в таком фаллическом фантазме насилия (сталь), успо­коенном и убаюканном своим собственным отражени­ем, — во всем этом нельзя не распознать общую схему согласия с миром, схему тотального снятия напряжений в матерински-гармоническом обществе.

Итак, в рекламе нас «отчуждают» и «мистифицируют» не те или иные мотивы, слова, образы — скорее нас поко­ряет та заботливость, с которой к нам обращаются, что-то

184

показывают, пекутся о нас. Рисмен (цит. соч., с. 254-265) и другие теоретики — критики американского общества — хорошо продемонстрировали, что товар все больше и боль­ше начинает цениться не по своим внутренним достоин­ствам, а по тому, как через его посредство фирма заботит­ся о быте покупателя, по своему отношению к публике1. Так индивид в процессе непрестанного потребления, дос­тавляющего ему и удовлетворение и фрустрацию, и гор­дость и чувство вины, мало-помалу становится детерми­нирован обществом как целым.

Реклама сообщает вещам нечто такое, без чего «они не были бы сами собой», — особую «теплоту». Это сугубо со­временное качество, которое уже отмечалось нами как движущий фактор «среды»; и подобно тому как краски бывают не красными и зелеными, а теплыми или холод­ными, как определяющим показателем личности (в экстравертном обществе — см. Рисмен, с. 217) служит тепло­та или холодность, — так и вещи бывают теплыми или хо­лодными, то есть равнодушно-враждебными или же естественно откровенными, общительными, одним сло­вом «персонализированными». Они более не предлагают­ся для того или иного конкретного применения (практи­ка грубо-архаическая) — они навязываются, развертыва­ются парадом, ищут и обступают вас, доказывают вам свое существование избыточным излиянием своих видимостей. Вещь нацелена на вас, она вас *любит.* А поскольку она вас любит, вы и сами себя чувствуете существующим — вы «персонализированы». Это и есть главное, сама же покупка играет второстепенную роль. Изобилием това­ров устраняется *дефицит,* широкой рекламой устраняет­ся психическая *неустойчивость.* Ибо хуже всего, когда приходится самому придумывать мотивации для поступ­ков, любви, покупок. Человек при этом сталкивается с

1 Так, в радиопередачах, спонсируемых той или иной фирмой, непос­редственно рекламный призыв играет минимальную роль по сравнению с аф­фективным соучастием: «Вам дарит это фирма «Суниль».

185

тем, что он сам себя плохо знает, не существует как пол­ноценный субъект, обманывает себя и испытывает страх. Если вещь не снимает это чувство вины от незнания, чего ты хочешь и кто ты такой, то она будет сочтена некаче­ственной1. Если же вещь меня любит (а любит она меня через рекламу), то я спасен. Таким образом, реклама, как и вообще все «паблик рилейшнз», своей огромной заботливостью облегчает нашу психическую неустойчи­вость, и в ответ мы интериоризируем эту попечительную инстанцию, эту сверхфирму, производящую не просто ма­териальные блага, но и теплоту общения; иными слова­ми — все общество потребления как целое.

Следует иметь в виду еще и то, что в обществе, всецело подчиненном законам сбыта и прибыли, реклама состав­ляет наидемократичнейший из товаров, единственный то­вар, получаемый «в дар» и доступный для всех. Вещь вам продают, а рекламу — «предоставляют»2. Таким образом, игра рекламы оказывается тонко связана с архаическим ри­туалом дара и подарка, а также и с ситуацией ребенка, пас­сивно получающего родительские благодеяния. В обоих случаях цель состоит в том, чтобы коммерческие отноше­ния превратить в отношения личностные3.

1 Сходным образом жители американских пригородов протестуют не против объективных недостатков муниципальных служб, а против несо­вершенства службы психологической: власти не принимают всех пси­хологических мер к тому, чтобы они примирились со своим положением (Рисмен, с. 260).

2 Так же и с выбором (см. главу «Модели и серии»): сама вещь вам про­дается, зато вся «гамма» вещей как таковая вам «предоставляется».

3 Для того чтобы этот выбор и реклама «предоставлялись» вам бес­платно, приходится выделять все большие средства на «персонализацию» моделей и на распространение рекламы — больше, чем на фундамен­тальные технические разработки; то, что вам «дарят» в плане психоло­гическом, возникает за счет технического качества того, что вам прода­ют. Не следует недооценивать этот процесс, который в «развитых» об­ществах принимает грандиозные масштабы. Но кто знает — быть может, реклама, врачуя психическую неустойчивость и давая воображаемое удовлетворение, тем самым выполняет не менее фундаментальную *объек­тивную* функцию, чем технический прогресс, удовлетворяющий мате­риальные потребности?

186

### ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

Такая функция инфантильного одаривания, на которой зиждется наша вера в рекламу, наша через нее сопричаст­ность со всем обществом в целом, хорошо иллюстрируется также и игровой ее функцией. Мы чувствительны не только к тому, что в ней без всякой негативности нам даруется бе­зопасность, но и к тому, что в ней с фантастической силой заявляет о себе общество, способное избыточностью обра­зов преодолеть жесткую необходимость потребностей; мы чувствительны к ее зрелищности (опять-таки это самое де­мократичное из зрелищ), к ее игре и театральности. Рекла­ма постоянно служит вывеской реальной или виртуальной покупательной способности общества в целом. Я могу об­ладать или не обладать такой способностью, но я ею «дышу». Кроме того, будучи выставлен напоказ, манипулируемый так и сяк, товар эротизируется — не только при открытом использовании сексуальной тематики1, но благодаря тому, что покупка, обыкновенное приобретение товара, разыгры­вается здесь как сценарий некоего сложного маневра или танца, практический поступок насыщается элементами любовной игры — где есть и заигрывание, и соперничество, и непристойность, и кокетство, и проституция, все вплоть до иронии. Механизм покупки, уже сам по себе несущий либидинозную нагрузку, подменяется развернутой эротизацией выбора и траты2. Итак, в нашем современном обще­стве, особенно в городах, мы постоянно окружены светом и образами, которые шантажируют нас чувствами престижа и нарциссизма, аффективной привязанности и форсирован­ной соотнесенности, — атмосферой холодного, чисто фор­мального, хотя и возбуждающего празднества, имитацией раздачи чувственных даров, где прославляется, расцвечива-

1 Среди мотивов этого рода преобладают такие, которые, пожалуй, име­ют характер не столько эротический, сколько «материнский» (груди, губы).

2В немецком языке слово «реклама» (die Werbung) буквально означает любовное стремление. «Der umworbene Mensch» — это человек, напич­канный рекламой, а также и человек сексуально возбужденный.

187

ется, разыгрывается и скрадывается самый процесс покуп­ки и потребления, подобно тому как в танце предвосхища­ется половой акт. И, как прежде через праздники, через рек­ламу общество смотрит само на себя и усваивает свой соб­ственный образ.

Это имеет важнейшую регулятивную функцию. Подобно сновидениям, реклама фиксирует потенциал воображаемого и дает ему выход. Подобно сновидениям, она остается прак­тикой субъективно-индивидуальной1. Подобно опять-таки сновидениям, она лишена негативности и относительности; в ней нет знаков «плюс» или «минус», она по сути своей суперлативна, всецело имманентна2. Наши ночные грезы ли­шены пояснительных подписей; те же, что мы видим наяву на стенах своих городов, в газетах и на экранах, сплошь по­крыты такими подписями, в них повсюду субтитры, но и в том и в другом случае живейшая игра фантазии сводится к скуднейшим определяющим причинам, и подобно тому как ночные сновидения имеют своей функцией предохранить наш сон, так и чары рекламы и потребительства имеют своей функцией способствовать непроизвольному усвоению смыс­лов социальной среды, способствовать индивидуальной рег­рессии к социальному консенсусу.

Реклама как празднество, имманентность, позитивность — все это означает, что она *скорее сама потребляется, чем управ­ляет потреблением.* Чем была бы сегодня вещь, лишенная та­ких двух показателей, как дискурс и образ (реклама) и гамма моделей (выбор)? Психологически она бы просто не существо­вала. А кем были бы современные граждане, если бы вещи не предоставлялись им в двойной перспективе выбора и рекла­мы? Они не были бы *свободны.* В силу этого понятна реакция

' Известна безуспешность рекламных кампаний, направленных на из­менение того или иного социального поведения или тех или иных соци­альных структур (против алкоголя, против лихачества на дорогах и т.д.). Реклама противится коллективному принципу реальности. Она обраще­на к индивиду, к его личным грезам. В ней эффективна разве только одна форма императива: «Дайте» (так как она включена в обратимую систему дара-благодеяния).

2Негативная или ироническая реклама — всего лишь антифразис, этот прием хорошо известен и в сновидениях.

188

двух тысяч западных немцев, опрошенных Демоскопическим институтом Алленсбаха: 60% из них считают, что вокруг слиш­ком много рекламы, но на вопрос: «Что вы предпочитаете — неумеренную рекламу, как на Западе, или же строгий минимум общественно полезной рекламы, как на Востоке?» — большин­ство высказалось за первый ответ, рассматривая самое неуме­ренность рекламы как непосредственный знак не просто изо­билия, но и свободы, то есть как некую фундаментальную цен­ность1. Настолько велико аффективно-идеологическое согласие, которое создается этим зрелищным опосредованием между индивидом и обществом, независимо от структур послед­него. Если бы полностью устранить рекламу, то, глядя на голые стены зданий, каждый стал бы ощущать фрустрацию. У него не просто отняли бы возможность, пусть ироническую, игры и гре­зы, но на более глубинном уровне ему бы казалось, что им больше никто не занимается. Он начал бы жалеть об этой спе­цифической среде, через посредство которой он мог заменить активную социальную сопричастность хотя бы заочной сопри­частностью социальному целому, почувствовать себя окутанным более теплой, матерински ласковой, красочной атмосферой. По мере того как человек достигает благосостояния, его первым тре­бованием становится, чтобы кто-то занимался его желаниями, у него на глазах формулируя и облекая их в образы (в социалис­тической стране это является или становится проблемой). Рек­лама как раз и выполняет эту функцию — пустую, регрессив­ную, несущественную, но тем более глубоко необходимую.

### ДВОЙСТВЕННАЯ ИНСТАНЦИЯ: ОДАРИВАНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ

Сквозь это сладостное воспевание вещей необходимо слышать истинный императив рекламы: «Смотрите: целое общество занято тем, что приспосабливается к вам и к ва-

1 Разумеется, следует иметь в виду политическую обстановку в отно­шениях Востока и Запада. И все же можно сказать, что отсутствие рекла­мы, о котором знают эти люди, служит в числе прочих одним из реальных мотивов их предубеждения против Востока.

189

шим желаниям. Следовательно, и для вас разумно было бы интегрироваться в это общество». Внушение, по словам Пак­карда, происходит незаметно, но целью его является не столько «побуждение» к покупке и порабощение человека вещами, сколько подсказываемое таким дискурсом приоб­щение к социальному консенсусу: вещь — это род службы на благо общества, особое личностное отношение между ним и вами. Независимо от того, строится ли реклама на материнском образе или же на игровой функции, она имеет целью *один и тот же процесс регрессии, не дающей дойти до реальных процессов* труда, производства, рынка и стоимос­ти, — ведь это могло бы привести в расстройство всю вол­шебную интегрированность общества. Вы не купили эту вещь, вы лишь выразили желание ее приобрести, и тут же все инженеры и техники поспешили вас ею одарить. В индустриальном обществе труд и его продукт оказываются разобщены уже в силу разделения труда. Своего заверше­ния этот процесс достигает благодаря рекламе, когда в мо­мент покупки *продукт* окончательно утрачивает связь с по­требительским *благом:* поместив между трудом и продуктом труда огромный образ матери, реклама добивается того, что этот *продукт* уже рассматривается не как таковой (облада­ющий своей историей и т.д.), а всего лишь как благо, как *вещь.* Разобщая в одном и том же индивиде потребителя и производителя с помощью материальной абстракции высокодифференцированной системы вещей, реклама, с другой стороны, старается восстановить инфантильную не­различимость между предметом и его желанием, отбросить потребителя к той стадии, на которой ребенок еще не отли­чает мать от ее даров.

Тщательно скрадывая объективные процессы, соци­альную историю вещей, реклама тем самым, через посред­ство инстанции социального воображаемого, фактически утверждает реальный строй производства и эксплуатации. Поэтому за рекламной психагогией необходимо слышать демагогию *политического* дискурса, чья тактика также ос­нована на раздвоении: социальная действительность раздва­ивается на реальную инстанцию и ее образ, который ее

190

скрадывает, делает неразличимой и оставляет место лишь для схемы растворения личности в заботливо-материнской «сре­де». Реклама фактически внушает вам: «Общество всецело приспосабливается к вам, так интегрируетесь же и сами в него», — но эта взаимность, конечно, с подвохом: к вам при­спосабливается чисто воображаемая инстанция, вы же вза­мен приспосабливаетесь ко вполне реальному социальному строю. Через посредство кресла, «сочетающегося с формами вашего тела», вы сами сочетаетесь, принимая за него ответ­ственность, со всем технико-политическим строем общества. Принимая вид матери, оно тем самым предохраняет свой при­нудительный строй1. Здесь нам открывается огромная *поли­тическая* роль, которую играет тиражирование рекламных изделий и операций: они, по сути, приходят на смену мораль­но-политическим идеологиям прошлого. Более того, в то вре­мя как морально-политическая интеграция всегда шла небезболезненно (ее приходилось подкреплять открытым на­силием), новейшие технические приемы обходятся без реп­рессии: потребитель интериоризирует социальную инстан­цию и ее нормы в самом жесте потребления.

Эта эффективность еще более возрастает в силу самого статуса, которым обладает рекламный знак, в силу того, ка­ким образом он «читается».

Рекламные знаки говорят нам о вещах, но не истолко­вывают их (разве что в очень малой мере) с точки зрения той или иной практики; к реальным вещам они фактически отсылают так, словно это вещи какого-то отсутствующего мира. Это в буквальном смысле «легенда», то есть они пред­назначены лишь для чтения. Не отсылая к реальному миру, они и не совсем подменяют его собой; это знаки, требую­щие от нас особого рода деятельности — чтения.

Если бы они несли в себе информацию, то это было бы полноценное чтение, переход к полю практических поступ-

1 Да и вообще, под прикрытием системы одаривания явно усиливают­ся все властные структуры — планирование, централизация, бюрократия; партии, государства и их органы упрочивают свое господство под прикры­тием этого образа матери, делающего все менее и менее возможным ре­альный протест.

191

ков. Но они играют иную роль — указывать на отсутствие того, что ими обозначается. Поэтому их нетранзитивное чтение организуется как специфическая система *удовлет­ворения,* но в такой системе постоянно работает и фактор отсутствия реальности, то есть *фрустрация.*

Образ создает пустоту, на пустоту он направлен — именно в этом его «намекающая» сила. Но образ — это пустой при­зрак. Притягивая к себе заряд психической нагрузки, он на­коротко замыкает его на уровне чтения. Слабые и зыбкие желания он ориентирует на определенный предмет, одновре­менно и раскрывая, и маскируя его. Он обманчив, *его функ­ция — показываться и не даваться.* Во взгляде есть презумп­ция соприкосновения, в образе есть презумпция обладания. То есть реклама не дает ни галлюцинаторного удовлетворе­ния, ни практического опосредования, подхода к миру; со­стояние, которое ею создается, — это робкая и нереализо­ванная попытка, незавершенный жест, постоянная возбуж­денность и постоянная неудача: видения вещей и видения желаний. При чтении рекламного образа стремительно ра­зыгрывается целая психодрама; в принципе она позволяет читателю осознать свою пассивность и превратиться в потре­бителя; фактически же изобилие образов всегда направлено к тому, чтобы не давать человеку обратиться к реальности, чтобы постоянной фрустрацией исподволь поддерживать в нем чувство вины, чтобы блокировать его сознание в состоя­нии мечтательной удовлетворенности. Действительно, образ и его чтение — кратчайший путь отнюдь не к самой вещи, а к другому образу. И рекламные образы сменяют друг друга, словно зачаточные образы в гипнагогических состояниях.

Необходимо постоянно иметь в виду эту функцию обра­за — функцию устранения реального мира, функцию фрус­трации. Только так можно понять, каким способом *принцип реальности, устраняемый в рекламном образе, тем не менее эффективно проступает в нем как постоянное подавление желания* (последнее превращается в зрелище, блокируется, оставляется неутоленным и в конце концов абсурдно-регрессивно переносится на некоторую вещь). Становится понятной и глубокая согласованность между рекламным

192

знаком и глобальным строем общества: реклама не механи­чески несет в себе ценности этого общества, она более тонко «протаскивает» общественный строй (в его двойной ипостаси одаривания и подавления) посредством своей двойственной *презумптивной* функции; это что-то проме­жуточное между обладанием вещью и лишением ее, одно­временно ее обозначение и нацеленность на ее отсутствие1. Одаривание и фрустрация — две неотделимых одна от другой стороны социальной интеграции. Будучи легендой, любой рекламный образ уже уменьшает тревожную много­значность мира. Но для лучшей удобочитаемости его еще искусственно делают скудным, куцым — сам по себе он все же допускает слишком много интерпретаций, и его смысл дополнительно сужают дискурсом, субтитрами, как бы вто­ричной легендой. При таком чтении образ отсылает только к другим образам. В конечном счете реклама оказывает ус­покоительное действие на сознание с помощью направлен­но организуемой социальной семантики, в пределе ориен­тированной на одно-единственное означаемое — само об­щество в целом. То есть общество играет здесь все роли — вызывая к жизни множество образов, оно старается свести их смысл к одному. Вызывая страх, оно само же и утишает его. Оно утоляет и разочаровывает, мобилизует и демоби­лизует. В сфере рекламы оно создает царство свободных желаний, но желание здесь никогда не освобождается ре­ально (это означало бы конец всего социального строя) — в рекламном образе желание освобождается ровно настоль­ко, чтобы сработали рефлексы страха и вины, связанные с появлением желания. Зачаточное желание, спровоцирован­ное образом, но им же и обезвреженное, отягощенное ви­ной, вновь подпадает под власть социальной инстанции. Это

1 Данный анализ может быть перенесен и на систему вещей. Посколь­ку сама вещь тоже двойственна, поскольку она всегда не просто вещь, но еще и *нацеленность на отсутствие человеческих отношений* (как реклам­ный знак есть нацеленность на отсутствие реальной вещи), то она тоже способна выполнять мощную функцию интеграции. Однако ее практи­ческая специфика ведет к тому, что в ней нацеленность на отсутствие ре­альности не столь подчеркнуто, как в рекламном знаке.

193

избыток свободы, несвободы воображаемой, непрерывный, но строго оркестрированный разгул психических сил, уп­равляемая регрессия, где все виды перверсий получают свое разрешение на благо порядка. В обществе потребления про­цесс одаривания получает грандиозные масштабы, но и про­цесс подавления тоже; в рекламном же образе и дискурсе мы воспринимаем их одновременно, здесь репрессивный принцип реальности срабатывает в самом сердце принципа удовольствия.

### ПРЕЗУМПЦИЯ КОЛЛЕКТИВА

#### Стиральный порошок «Пакс»

Обходя молчанием объективные процессы производства и рынка, реклама оставляет в стороне и реальное общество с его противоречиями. Она играет на присутствии/отсутствии некоего глобального коллектива, на его *презумпции.* Этот кол­лектив — воображаемый, но подразумевается, что он нами усвоен, а этого уже достаточно, чтобы обеспечить действен­ность рекламы. Возьмем для примера рекламную афишу сти­рального порошка «Пакс». На нем изображается огромная, неразличимая толпа, которая девственно белыми флагами (фирменная белизна) приветствует возвышающегося в цент­ре идола — громадный пакет «Пакса», изображенный фото­графически точно, а размером своим, в сравнении с толпой, равный небоскребу ООН в Нью-Йорке. Эта картина, разу­меется, питается богатой идеологией чистоты и мира, но нас здесь прежде всего интересует гипостазирование коллектив­ности и ее использование в рекламе. Чтобы внушить покупа­телю, что он лично желает порошок «Пакс», его изначально включают в обобщенный образ. Толпа на афише — это и есть он сам, и афиша обращается к его желанию через образную презумпцию коллективного желания. Реклама действует здесь очень ловко: ведь любое желание, даже самое интимное, ори­ентировано на универсальность. Вожделение к женщине под­разумевает, что ее способны вожделеть все мужчины. Ни одно желание, даже сексуальное, не существует, не будучи опосре-

194

довано коллективным воображаемым; без него оно, очевид­но, не может даже возникнуть — можно ли представить себе любовь к женщине, если знать наверняка, что ни один муж­чина на свете не может ее возжелать? И обратно, если у жен­щины целые толпы поклонников, то и я стану любить ее, даже не зная ее лично. Этот фактор всегда присутствует (чаще все­го скрыто) в рекламе. Для нас нормально переживать свои желания, соотнося их с коллективом, реклама же стремится построить на этом свою систематику желания. Она не полага­ется на произвольность индивидуальных потребностей, а предпочитает их контролировать, пользуясь коллективнос­тью и кристаллизацией нашего сознания в этой чистой коллективности. Здесь правит бал своеобразная тоталитар­ная социодинамика — вся стратегия рекламного внушения основывается на презумпции коллектива. При таком утвер­ждении желания с помощью одного лишь фактора группы в нас срабатывает фундаментальная потребность в коммуни­кации, только направляют ее не на реальную коллективность, а на призрак коллектива. Пример с порошком «Пакс» впол­не красноречив: эта реклама создает кажущуюся солидар­ность индивидов на основе некоторого товара, хотя его по­купка и потребление отсылают каждого из них именно к ин­дивидуальному быту. Парадоксальным образом та вещь, которую нам пытаются всучить от имени всех, апеллируя к инстинкту солидарности, будет нами использоваться в пер­вую очередь для того, чтобы отличаться от других. *Носталь­гия по коллективности питает собой индивидуальную конку­ренцию.* Фактически же и сама эта конкуренция иллюзорна, поскольку каждый из прочитавших афишу в конечном счете будет *индивидуально* приобретать *тот же. самый* товар, что и другие. В итоге рекламной операции ее «выгода» (для обще­ственного строя) состоит в регрессивной идентификации ин­дивида с некоей неопределенной коллективной целост­ностью, то есть интериоризация им групповой санкции. Здесь, как и всегда, чувство сообщничества и чувство вины идут рука об руку: реклама, помимо прочего, обосновывает *также* и мою виновность (потенциальную) перед группой. Только здесь это происходит не по традиционной схеме цен-

195

зуры — здесь страх и виновность внушаются мне с самого на­чала, как бы впрок; дальняя же цель состоит в том, чтобы, создав управляемое желание, обеспечить покорность инди­вида групповым нормам. Нехитрое дело оспаривать открыто заявленный императив рекламной афиши (эта афиша не за­ставит меня купить «Пакс» вместо «Омо» или «Суниля», или даже вообще купить что-либо подобное) — зато не так-то про­сто опровергнуть ее вторичное означаемое, ту вибрирующую, восторженную толпу, которая акцентирована идеологией «мира» (pax). Такой схеме сопричастности трудно противить­ся , *потому что о сопротивлении здесь нет даже и речи;* да и то в данном случае коннотация еще достаточно различима — а ведь санкция коллектива не обязательно изображается в виде толпы, она может быть представлена любым образом. Hапример, образом эротическим: конечно, человек не оттого поку­пает чипсы, что на пакете изображена белокурая шевелюра и аппетитные ягодицы, но несомненно, что при этой мгновен­ной мобилизации либидо с помощью рекламной картинки успевает сработать вся социальная инстанция с ее обычны­ми схемами подавления, сублимации и переноса.

*Рекламный конкурс*

В некоторых газетах ежегодно устраиваются конкурсы, включающие особый отборочный вопрос: сколько будет получено ответов (правильных) на наш конкурс? Этим про­стым вопросиком фактор случайности вводится в ту самую сферу, откуда соперники на протяжении долгих недель пы­тались его устранить, прилагая к этому всю свою смекалку. Соревнование между ними оказывается сведено к мисти­ческому вытягиванию лотерейного билета. Но интересно то, что здесь работает не просто случайность: разделение удач­ников и неудачников осуществляет не Бог и не рок, как в былые времена, но особый, специально созданный коллек­тив, случайно-произвольная группа (множество людей, ко­торые могут участвовать в данном конкурсе и выиграть его), и критерием успеха становится способность угадать эту раз­делительную инстанцию, успешно идентифицировать себя с этой коллективной случайностью. Именно поэтому пре-

196

дыдущие вопросы бывают, как правило, очень простыми: нужно подвести как можно больше участников к главному — к магически-интуитивному познанию Великого Коллек­тива (помимо прочего, в его чистой случайности заново ут­верждается миф об абсолютной демократии). Одним сло­вом, конечным означаемым такого конкурса является не­кий призрачный, одноразовый коллектив, не имеющий ни структуры, ни образа (он лишь абстрактно, в самый момент своего распада, «воплощается» в цифре верных ответов), обусловленный и образуемый лишь фактом одаривания того или тех немногих, что сумели его угадать в самой его абст­рактности.

#### ГАРАП

Если в товаре мы потребляем сам товар, то в рекламе мы потребляем его смысл. Вообразим на миг, что в наших совре­менных городах вдруг не стало никаких знаков — одни го­лые стены, словно пустое сознание. И тут вдруг появляется ГАРАП — одно-единственное слово «ГАРАП», написанное на всех стенах. Чистое означающее без всякого означаемо­го, обозначающее лишь само себя, оно начинает читаться, обсуждаться, истолковываться вхолостую, начинает неволь­но что-то значить: оно потребляется в качестве знака. Что же оно при этом обозначает, как не само общество, способ­ное произвести такой знак? При всей своей незначимости, оно привело в действие все наше коллективное воображае­мое. Оно сделалось индикативом целого общества. В извес­тном смысле люди «поверили» в ГАРАП. На таком примере пытались показать всемогущество рекламы, полагая, что до­статочно связать ГАРАП с каким-то конкретным товаром, как этот товар сам собой внедрится в сознание публики. На самом деле это отнюдь не очевидно, и хитрость данной рек­ламы именно в том и состоит, чтобы ни в коем случае не «раскрываться». Если бы у нее появилось явное означаемое, то сразу заработали бы вновь индивидуальные факторы со­противления. Напротив того, чистый знак сам собой вызы­вает согласие, пусть даже и ироническое. И одновременно с высокой степенью чистоты проявляется реальное означае-

197

мое всей рекламы как таковой: реклама, как и ГАРАП, — это и есть все массовое общество, которое с помощью про­извольного, но систематичного знака возбуждает чувства, мобилизует сознание людей и через сам этот процесс как раз и воссоздается в качестве коллектива1.

Через посредство рекламы массовое общество потребле­ния постоянно выражает само себе одобрение и поддержку2.

### НОВЫЙ ГУМАНИЗМ?

#### Серийная постановка рефлекса

Теперь нам лучше видно, какая система выработки рефлексов скрывается за мотивами конкуренции и «персо­нализации». Действительно, та идеология конкуренции, которая некогда, апеллируя к «свободе», составляла золо­тое правило производства, ныне всецело переместилась в сферу потребления. В условиях множества маргинальных отличий, когда один и тот же товар чисто формально распа­дается на разные виды благодаря внешнему оформлению, конкуренция оказывается особенно острой, широко разво­рачивая последнюю, сомнительную свободу выбора — сво­боду случайно выбирать вещи, которые будут отличать вас от других3. По сути, можно считать, что идеология конку-

1 Об этой тавтологической системе самоопознания свидетельствует каждый в отдельности рекламный знак, поскольку он всегда одновременно указывает сам на себя как на рекламу.

2Не такова ли отчасти и функция тотемистической системы, согласно Леви-Строссу? Через произвольные тотемные знаки демонстрирует себя строй всего общества в своей имманентной длительности. В этом смысле реклама предстает как последняя стадия развития культурной системы, ко­торая в репертуаре торговых марок вновь обретает ту скудость знакового кода, что свойственна архаическим системам.

3 Само слово «конкуренция» двузначно: «concourir» означает одновре­менно «соперничать» и «совместно стремиться». Состязаясь с другими, мы оттого лишь вернее «сбегаемся» в одну точку. На известном уровне техни­ческого развития (особенно в Соединенных Штатах) все вещи той или иной категории становятся эквивалентными, и требование дифференциации ве­дет лишь к тому, что они каждый год, по одним и тем же нормам, все вместе заменяются. Точно так же при предельной свободе выбора все оказываются подчинены ритуальной необходимости владеть одной и той же вещью.

198

ренции в данной сфере служит тому же самому процессу, а значит и той же самой цели, что и в сфере производства: если потребление пока еще воспринимается как род «сво­бодной профессии», область личностного самовыражения, тогда как производство, мол, окончательно заорганизовано, — то это лишь потому, что техника психологического планирования сильно отстает от техники планирования эко­номического.

Нам по-прежнему хочется того, чего нет у других. В том, что касается выбора и использования товаров, мы по-пре­жнему находимся (по крайней мере, в Западной Европе — на Востоке эта проблема еще не встала) в героической ста­дии конкуренции. В отличие от Соединенных Штатов, у нас еще не сложилась систематическая, синхронно-цикличес­кая смена моделей1. Что это, психологическое сопротивле­ние, сила традиции? Нет, просто большинство нашего на­селения пока еще не достигло достаточно высокого уровня жизни, когда все вещи располагаются на одном уровне мак­симальных потребностей и остается, по сути, лишь один на­бор моделей, так что важно становится уже не их разнооб­разие, а сам факт обладания «последней» моделью — обяза­тельным фетишем социального самоутверждения. В Соединенных Штатах 90% населения практически желают только одного — владеть тем, что есть у других, и этот мас­совый выбор с каждым годом переносится на новую по­следнюю модель, которая является единообразно наилуч­шей. Сложился устойчивый класс «нормальных» потреби­телей, фактически равный всему населению. Хотя в Европе мы к этому еще не пришли, но, необратимо тяготея к аме­риканской модели, мы уже хорошо чувствуем, сколь двой­ственна наша реклама: *она побуждает нас к конкуренции,* но

1 В Соединенных Штатах основные вещи — машина, холодильник — в тенденции имеют заранее исчисленный и предписанный срок службы око­ло года (для телевизора — три года, для квартиры — несколько больше). В конечном счете социальные нормы «стэндинга» создают круговорот вещей со все более коротким циклом: далеко не тождественный циклам природы, хотя порой и совпадающий любопытным образом со старыми сезонными циклами, этот новейший цикл и необходимость ему подчиняться образуют сегодня подлинную мораль американского гражданина.

199

через эту воображаемую конкуренцию *она уже ориентиро­вана на глубинную одинаковость,* на постулат единообразия, на инволюцию к блаженному состоянию потребительской массы. Она говорит нам: «Покупайте это, потому что оно ни на что больше не похоже!» («элитное мясо», «сигареты для happy few», и т.д.) — но вместе с тем и другое: «Покупай­те это, потому что этим пользуются все»1. И здесь вовсе нет противоречия. Понятно, что каждый чувствует себя ориги­нальным, хотя все и похожи друг на друга, — для этого нуж­на лишь схема коллективно-мифологической проекции, то есть некая модель2.

На основании этого можно считать, что окончательным завершением общества потребления (не в силу какого-то макиавеллического заговора технократов, а просто по струк­турной логике конкуренции) становится функционализация самого потребителя, психологическая монополизация всех его потребностей — то есть вполне единодушное потребле­ние, наконец достигшее гармонической согласованности с концентрацией и абсолютной заорганизованностью произ­водства.

*Свобода «по недостатку»*

С другой стороны, идеология конкуренции ныне повсе­местно отступает перед «философией» личностного самоосу­ществления. В современном обществе, с его повышенной

1 Это превосходно выражается в двузначном рекламном «вы», напо­добие английского «you»: «Guinness is good for you». Что это, своеобразная формула вежливости (то есть персонализации) или же обращение к кол­лективу? «Вы» в единственном числе или же во множественном? И то и другое сразу. Это каждый — в той мере, в какой он похож на всех осталь­ных; в конечном счете это гномическое «вы», равнозначное неопределен­но-личному местоимению on (см. у Лео Шпитцера — «Sprache im technischen Zeitalter», декабрь 1964 г., с. 961).

2 Когда в моде была прическа а-ля Брижитт Бардо, каждая модная де­вица в своих собственных глазах была неповторима, поскольку соотносила себя не с тысячами себе подобных, но с самой Бардо — сияющим образ­цом, источником оригинальности. В конце концов ведь и сумасшедших вовсе не смущает, что в одной и той же больнице находятся четыре-пять человек, считающих себя Наполеоном. Просто сознание при этом опре­деляет себя не через реальные, а через воображаемые соотношения.

200

интеграцией, индивиды уже более не соперничают друг с дру­гом в обладании благами, они самореализуются в своем по­треблении, каждый сам по себе. Лейтмотивом является те­перь уже не конкурентный отбор, а персонализация для всех. Одновременно и реклама от коммерческой практики обра­тилась к теории потребительского «праксиса», которая увен­чивает собой все здание общества. Такая теория излагается в американской рекламе (см. Дихтер, Мартино и др.). Логика ее проста: 1) общество потребления (вещей, товаров, рекла­мы) впервые в истории предоставляет индивиду возможность вполне раскрепостить и осуществить себя; 2) система потреб­ления идет дальше чистого потребления, давая выражение личности и коллективу, образуя новый язык, целую новую культуру. Таким образом, потребительскому «нигилизму» про­тивопоставляется «новый гуманизм» потребления.

Итак, пункт первый: самоосуществление личности. Д-р Дихтер, директор Института исследований мотивации, так определяет проблемы изучения этого нового человека1: «Перед нами сегодня стоит задача позволить среднему аме­риканцу чувствовать себя нравственным человеком даже тогда, когда он флиртует, тратит деньги, покупает себе вто­рую или третью машину. Одна из фундаментальных проблем нашего процветания — санкционировать и оправдать в гла­зах людей пользование его благами, доказать им, что делать из своей жизни удовольствие — нравственно, а не безнрав­ственно. Разрешить потребителю свободно пользоваться жизнью, доказать ему его право окружать себя вещами, обо­гащающими его быт и доставляющими ему удовольствие, — такова должна быть одна из первейших задач любой рек­ламы и вообще любого проекта, служащего стимулированию спроса». Итак, благодаря этой управляемой мотивации мы вступаем в эпоху, когда реклама берет на себя моральную от­ветственность за все общество в целом, заменяя пуританскую мораль гедонистической моралью чистого удовлетворения, создавая в лоне сверхцивилизованного общества как бы но­вую природность. Последняя фраза, однако, двусмысленна:

1 «Стратегия желания».

201

то ли целью рекламы является избавить человека от его зас­тенчивости перед счастьем, то ли стимулировать спрос? Ради чего предполагается реорганизовать общество — ради об­щего удовлетворения или ради прибыли? «Нет, — отвечает Блестен-Бланше (в предисловии к книге Паккарда «Неза­метное внушение»), — исследования мотивации не угрожа­ют свободе индивида; они ни в коей мере не посягают на его право поступать рационально или же иррационально». В этих словах слишком много то ли простоты, то ли хитрос­ти. Дихтер высказывается яснее — мы живем в состоянии *пожалованной* нам свободы: надо «разрешить потребителю свободно пользоваться...», позволить людям, не стесняясь, быть как дети. «Свобода быть собой» фактически означает свободу проецировать свои желания на промышленные из­делия. «Свобода наслаждаться жизнью» означает свободу вести себя иррационально и регрессивно, тем самым приспосабливаясь к определенному социальному строю производства1. Такая «философия» сбыта не останавлива­ется перед парадоксом: она приписывает себе рациональ­ную цель (объяснять людям, чего они желают) и научные методы — и все это для того, чтобы стимулировать у челове­ка иррациональное поведение (согласиться представлять собой лишь комплекс неопосредованных влечений и до­вольствоваться их удовлетворением). Впрочем, сами влече­ния тоже опасны, и новейшие колдуны от потребления бла­горазумно избегают освобождать человека ради столь взрыв­чатой цели, как стремление к счастью. Они предоставляют ему лишь разрядку напряжений, то есть свободу *«по недо­статку»:* «Всякий раз, когда создается, порождая чувство фрустрации и побуждая к действиям, некоторая разность на­пряжения, всегда есть основания надеяться, что тот или иной новый товар, отвечая стремлениям целой группы, уничтожит это напряжение. Тогда велики шансы и на то, что этот товар утвердится на рынке» («Стратегия желания», с. 81). Цель состоит в том, чтобы влечения, ранее блоки-

1 Пользуясь схемой Маркса («К еврейскому вопросу»), можно сказать, что индивидуум в обществе потребления свободен в качестве потребите­ля и только в качестве такового. Его эмансипация формальна.

202

ровавшиеся теми или иными психическими инстанция­ми (такими как табу, сверх-Я, чувство вины), могли кри­сталлизоваться в вещах — конкретных инстанциях, упраз­дняющих взрывчатую силу желания и материализующих в себе ритуально-репрессивную функцию общественно­го строя. Опасна та свобода быть собой, которая проти­вопоставляет индивида обществу. Зато безобидна свобо­да обладать вещами, поскольку она и сама неосознанно вовлечена в их игру. А потому такая свобода нравственна, что и говорит д-р Дихтер; в ней даже состоит главная цель всякой нравственности, поскольку она примиряет потре­бителя одновременно с самим собой и со своей группой. Отныне он — идеальное социальное существо. Традици­онная мораль требовала от индивида лишь соответство­вать своей группе, тогда как «философическая» реклама теперь требует от него соответствовать самому себе, раз­рядить в себе любые конфликты; она дает ему беспример­но глубокую моральную загрузку. Табу, страхи и неврозы, делающие индивида распущенным и отверженным, сни­маются ценой успокоительной регрессии в вещи, кото­рая дает всестороннюю поддержку образам Отца и Мате­ри. Все более «свободная» иррациональность первичных позывов идет рука об руку со все более строгим контро­лем на верхней ступени.

### НОВЫЙ ЯЗЫК?

Пункт второй: действительно ли система «вещи/рекла­ма» образует особый язык? Вся идеально-потребительская философия основывается на подмене человеческих отноше­ний, живых и конфликтных, «персонализированным» от­ношением к вещам; как пишет Пьер Мартино (« Мотивация и реклама», с. 107-108), «каждый процесс покупки представ­ляет собой взаимодействие между личностями индивида и товара». Теоретики рекламы делают вид, что по мере роста своей множественности и дифференциации товары стано­вятся внутренне *сложными* существами, а отношение покуп­ки и потребления по своей значимости приравнивается к

203

любому *человеческому* отношению1. Но вот вопрос: есть ли во всем этом живой языковой синтаксис? Действительно ли вещи по-новому формируют и структурируют наши потреб­ности? И обратно, действительно ли наши потребности по-новому формируют социальные структуры через посредство вещей и их производства? Если да, то здесь можно говорить о языке. Если же нет, то это всего лишь идеализм хитроум­ного менеджера.

*Структура и членение смыслового поля: марка*

Покупка не имеет ничего общего со свободным живым обменом. Это изначально принудительная операция, где сталкиваются две несводимых одна к другой системы: под­вижно-несвязная система индивида, с его потребностями, конфликтами, негативностью, — и кодифицированная, классифицированная, дискретная, относительно связная система товаров во всей их позитивности. Между ними про­исходит не взаимодействие, а лишь насильственная интег­рация системы потребностей в систему товаров. Все в це­лом, разумеется, образует систему значений, а не просто непосредственных удовлетворений. Но для «языка» требу­ется некоторый синтаксис, тогда как товары массового по­требления представляют собой лишь голый набор. Объяс­ним, что здесь имеется в виду.

На стадии ремесленного производства вещи отражают в себе потребности людей в их случайности и единичности. Обе системы взаимно подогнаны друг к другу, но все вместе остается слабо связным — относительная связность имеет­ся разве что в системе потребностей. Потребности подвиж­ны и случайны; объективного технического прогресса нет. С началом же индустриальной эпохи обретает связность система изделий, получая ее от строя техники и социальных структур; в результате уже система потребностей оказыва-

1 Существуют, правда, и иные — архаические — способы персонали­зации покупки: торг о цене, покупка по случаю (благодаря удаче), «шоп­пинг» (терпеливая игра) и т.д. Архаичны они тем, что предполагают пас­сивность товара и активность покупателя. Сегодня же инициатива персо­нализации всецело перешла в руки рекламы.

204

ется менее связной, чем система вещей. Последняя утверж­дает свою связность во всем и тем самым получает возмож­ность моделировать целую цивилизацию по своему образу (Симондон, цит. соч., с. 24). Можно также сказать, что «бла­годаря машине безграничный ряд переменных величин (ве­щей, сделанных «по мерке», приспособленных к чьим-то потребностям) был заменен ограниченным числом по­стоянных величин» (Мамфорд, «Техника и цивилизация», с. 246). В такой эволюции, бесспорно, содержатся предпо­сылки языка: внутренняя структурность, упрощенность, пе­реход к ограниченному набору дисконтинуальных элемен­тов-технем, которые все более ориентируются в одном на­правлении. Если промышленное изделие остается на уровне речи, то в промышленной технологии создается языковой код. Но код — это еще не язык: в нем высказывается не кон­кретная структура автомобильного мотора, а лишь форма, цвет, очертания, аксессуары, одним словом «стэндинг» дан­ного предмета. Происходит как бы вавилонское столпотво­рение — каждый говорит на своем наречии. Впрочем, даже и здесь серийное производство, через исчислимость отли­чий и комбинаторику вариантов, расчленяет поле значений, создает репертуар элементов, словарь форм и красок, в ко­торых могут запечатлеваться повторяющиеся обороты «речи»; но является ли это уже языком? Нет, в этой гранди­озной парадигме не хватает настоящего синтаксиса. Нет ни строгого синтаксиса технологии, ни свободного синтакси­са потребностей: система как бы плавает между тем и дру­гим, являя собой широкий репертуар элементов, и в плане быта стремится создать всезахватывающую сетку типов и моделей для просеивания через нее бессвязных потребнос­тей, — взаимного же структурирования не происходит. А по­скольку товарам присуща большая системная связность, то потребности устремляются к ним, становятся сами дробно-дискретными и с трудом, чисто произвольно размещаются в клетках системы вещей. В конечном счете система инди­видуальных потребностей захлестывает мир вещей своей аб­солютной случайностью, но сама эта случайность оказыва­ется некоторым образом инвентаризована, классифициро-

205

вана, расчленена системой вещей; следовательно, ею ста­новится возможно управлять (в чем и состоит реальная за­дача системы в социоэкономическом плане).

Таким образом, моделирующее влияние технико-промышленного строя на нашу цивилизацию носит двой­ственный и противоречивый характер: факторами этого вли­яния являются как связность, так и несвязность. «На вер­шине» работает структурная (технологическая) связность, тогда как «у основания» — аструктурный (хотя и управляе­мый) несвязный механизм сбыта товаров и удовлетворения потребностей. Поскольку язык не может быть ни предме­том потребления, ни предметом частной собственности го­ворящих на нем, то в нем всегда остается возможным «су­щественный» синтаксис обмена (структурированность ком­муникации); напротив, как мы видим, в системе «вещи/ реклама», поглощенной несущественным, лишенным струк­турности миром потребностей, эти потребности удовлетво­ряются лишь порознь, при этом никогда не возникает но­вых структур коллективного обмена.

П. Мартино далее пишет: «Между категориями покупа­телей и категориями автомашин, безусловно, нет простого соотношения. Человек представляет собой сложный комп­лекс многообразных мотиваций, способных составлять бес­численные сочетания. Тем не менее следует признать, что различные марки и модели помогают людям выразить свою личную неповторимость». Далее он дает несколько приме­ров такой «личной неповторимости»: «Консерватор выбо­ром своей машины стремится создать впечатление досто­инства, зрелости, серьезности... Другого рода машины вы­бираются людьми не слишком легкомысленными, но и не слишком аскетичными, следящими за модой, но не обго­няющими ее... В этой гамме личностных типов находят свое место также и любители новинок, ультрамодернисты и т.д.» Мартино, конечно, прав: именно так люди определяют себя по отношению к своим вещам. Но этим как раз и доказыва­ется, что вещи образуют не особый язык, а всего лишь спектр различительных признаков, более или менее произвольно соотнесенный со спектром стандартных личностных типов.

206

Создается впечатление, что дифференциальная система потреб­ления мощно способствует процессу смыслового членения:

1) в самом потребителе вычленяются категориальные секторы потребностей, сохраняющие лишь отдаленную связь с живой целостностью его личности;

2) в обществе вычленяются категориальные секторы или «статусные группы», опознающие себя через тот или иной набор вещей. При этом иерархизированные гаммы вещей и товаров играют точно ту же самую роль, которую прежде играли различительные наборы ценностных установок: на них зиждется групповая мораль.

И в том и в другом плане мир личности или же мир обще­ства, отправляясь от вещей, категоризируется и принудитель­но приводится в состояние иерархизированного, лишенного синтаксиса набора элементов, то есть *классификаторного по­рядка, а не языка.* Социальное членение как бы заменяет со­бой диалектику; через его посредство утверждается некото­рая упорядоченность, а тем самым, материализуясь в вещах, и некоторая объективная будущность каждой из групп; ко­роче говоря, происходит разбивка мира на клетки, в рамках которой все отношения имеют тенденцию к обеднению. Лукаво-эйфорические философы «мотивации» хотели бы уве­рить себя и других, что царство вещей все-таки представляет собой кратчайший путь к свободе. В доказательство они при­водят очевидный процесс смешения потребностей и спосо­бов их удовлетворения, избыточное обилие выбора — всю эту ярмарку предложения и спроса, которая своим бурным ки­пением способна создать иллюзию культуры. Не будем, однако, заблуждаться: вещи суть *категории вещей,* которые самым тираническим образом создают *категории личностей,* — они стерегут порядок социального смысла, порождаемые ими значения строго контролируются. В своей множествен­ности, одновременно произвольной и связной, они оказы­ваются наилучшей опорой для столь же произвольного и связ­ного социального строя, который эффективно воплощается в них под знаком изобилия.

Возможности «языка» потребления хорошо видны в ключевом понятии всей рекламы — понятии «марки».

207

Сегодня все товары, кроме скоропортящихся продуктов, обязательно продаются, будучи снабжены некоторым зна­ком; каждый товар, «достойный своего имени», обладает маркой, иногда даже подменяющей само название вещи («фрижидер» вместо «холодильник»). Функция марки — обозначать собой товар, вторичная же ее функция — моби­лизовывать аффективные коннотации: «В нашей высококон­курентной экономике немногие товары способны надолго ос­таваться на вершине технического совершенства. Приходится давать им некое индивидуализирующее звучание, наделять их теми или иными ассоциациями и образами, приписывать им многоуровневую значимость, — только так они будут хорошо продаваться и вызывать к себе аффективную привязанность, которая выражается в верности покупателя той или иной мар­ке» (Мартино, цит. соч., с. 75).

Так заново структурируется психология потребителя; операция основана на некотором слове — «Филипс», «Олида», «Дженерал моторз», — способном покрыть собой мно­жество различных вещей и одновременно множество рас­плывчатых значений. Это синтетическое слово, вбирающее в себя синтетические чувства; в нем осуществляется чудо «психологического ярлыка». В конечном счете, только на этом языке и разговаривает с нами вещь, только его она и сумела изобрести. Но этот фундаментальный лексикон, ко­торым испещрены стены наших городов и закоулки нашего сознания, абсолютно внесинтаксичен: различные марки раз­мещаются последовательно или параллельно, сменяют друг друга во времени, но между ними не происходит ни сочлене­ния, ни взаимоперехода; это словарь блуждающих элемен­тов, поглощающих друг друга и живущих неустанным само­повторением. Этот язык в высшей степени беден: в нем мно­го значений и нет смысла. Это язык сигналов, и «верность» покупателя той или иной марке всегда представляет собой лишь условный рефлекс управляемой аффективности.

Но, возражают наши философы, разве не благотворно уже само по себе обращение к глубинным силам — пусть даже ради включения их в крайне скудную систему товар­ных знаков? «Освободитесь от самоцензуры! Переиграйте

208

свое сверх-Я! Не бойтесь желать!» Только действительно ли эти глубинные силы призываются здесь с тем, чтобы дать им образовать некий язык? Действительно ли такая систе­ма значений позволяет вывести на свет смысла некие досе­ле скрытые пласты нашей личности — и что это за смысл? Послушаем еще Мартино: «Разумеется, предпочтительно использовать приемлемые, стереотипные понятия — в этом ведь и заключается сущность метафоры (!)... Если, спраши­вая у продавца «мягкую» сигарету или «красивую» машину, я и не в состоянии точно определить, что означают эти ка­чества, то я все же знаю, что они указывают на нечто желан­ное. Средний автомобилист не знает, что такое октановое число бензина, но смутно представляет себе, что это нечто положительное. Поэтому он покупает бензин с высоким октановым числом, то есть на невнятном ему жаргоне тре­бует предоставить ему это положительное и существенное качество» (с. 142). Иначе говоря, рекламный дискурс про­буждает желание лишь затем, чтобы свести его к самым об­щим и неопределенным понятиям. «Глубинные силы», пре­дельно упрощенные в своем выражении, оказываются при­вязаны к институциональному коду коннотаций, так что своим «выбором» я лишь подкрепляю согласованность это­го *морального* строя со своими собственными глубинными зачаточными желаниями; в этом и заключается алхимия «психологического ярлыка»1.

Подобное стереотипное использование «глубинных сил» равнозначно обыкновенной *цензуре.* Вся идеология лично­стного самоосуществления, весь торжествующий алогизм влечений, избавленных от чувства вины, — на деле лишь грандиозная попытка материализовать наше сверх-Я. В *вещи «персонализируется» в первую очередь цензура.* Философы потребления могут сколько угодно твердить, что «глубин­ные силы» составляют непосредственные предпосылки на-

1 Впрочем, уподоблять рекламу *магии —* слишком много для нее чести. Номиналистский словарь алхимиков уже содержал в себе зачатки настоя­щего языка, структурируемого практикой исследования и толкования. Номинализм же «марки» чисто имманентен и жестко привязан к эконо­мическому императиву.

209

шего счастья, — достаточно-де их раскрепостить. На самом деле наше бессознательное всегда конфликтно, и, мобили­зуя его, реклама мобилизует его именно как конфликт. Она не раскрепощает влечения — прежде всего она мобилизует фантазмы, которые их блокируют. Отсюда двойственный статус вещи, в которой личность обретает возможность не превзойти себя, а лишь замкнуться в собственных противо­речиях — в своих желаниях и цензурирующих их силах. Пе­ред нами здесь вновь проанализированная выше универ­сальная схема одаривания/фрустрации — давая формальную разрядку нашим напряжениям, маня нас всякий раз обман­чивой регрессией, вещь всякий раз несет в себе возобнов­ление конфликтов. Пожалуй, в этом и состоит специ­фическая форма отчуждения личности в современную эпо­ху: в процессе потребления мобилизуются и отчуждаются сами наши внутренние конфликты, сами «глубинные силы», подобно тому как в процессе производства отчуждается ра­бочая сила.

Ничто не изменилось, разве что одно: личность в своем само­осуществлении оказывается стеснена уже не репрессивными за­конами, не нормами послушания; цензура осуществляется в «свободном» поведении (покупке, выборе, потреблении) через стихийную самозагрузку; она как бы интериоризируется в са­мом акте наслаждения.

#### Универсальный код: стэндинг

Итак, будучи лишена живого синтаксиса, система «вещи/ реклама» образует не столько язык, сколько систему значе­ний; ей присуща скудость и эффективность условного кода. Она не структурирует личность, а лишь обозначает и клас­сифицирует ее. Она не структурирует социальные отноше­ния, а лишь членит их как иерархизированный набор эле­ментов. В формализованном виде она предстает как уни­версальная система маркировки социального статуса людей — как код «стэндинга».

В рамках «общества потребления» понятие статуса как критерия, определяющего достоинство члена общества, имеет тенденцию все более упрощаться, совпадая с поня-

210

тием «стэндинга». Конечно, «стэндинг» определяется и та­кими факторами, как власть, авторитет, ответственное по­ложение, но ведь в конечном счете «нет настоящей ответ­ственности без часов марки «Лип»! Реклама всякий раз от­кровенно отсылает к вещи как к некоторому императивному критерию: «О вас станут судить по тому...», «Элегантная женщина опознается по тому...», и т.д. Разумеется, вещи все­гда составляли систему социальных опознавательных зна­ков, но лишь параллельную и вспомогательную по отноше­нию к другим системам (жесты, ритуалы, церемонии, язык, родовое происхождение, кодекс нравственных ценностей и т.д.). Для нашего же общества характерно то, что другие си­стемы опознавания все более поглощаются одним-единственным кодом «стэндинга». Естественно, этот код высту­пает с большей или меньшей императивностью в зависи­мости от социальной среды и уровня экономического развития, но в том и заключается коллективная функция рекламы, чтобы обращать нас в его религию. Это мораль­ный кодекс, поскольку он санкционирован социальной группой и всякое его нарушение так или иначе сопровож­дается чувством вины. Это тоталитарный кодекс — от него никому не уйти; даже если мы не поддаемся ему в своей ча­стной жизни, это еще не значит, что мы не соучаствуем каж­додневно в его коллективной выработке. Можно не верить в него, а всего лишь верить, что в него верят другие, — и этого уже довольно, чтобы участвовать, пусть иронически, в его игре. Общество, подчиненное этому кодексу, держит в зависимости от себя даже попытки ему противиться. Впро­чем, в нем есть и свои позитивные стороны:

1 ) Он не более произволен, чем любой другой: ведь нагляд­ным выражением социального достоинства служат, даже в на­ших собственных глазах, помимо прочего новая машина, ко­торую мы покупаем, квартал, где мы живем, многочисленные вещи, которые нас окружают и отличают от других. Разумеет­ся, не только это — но ведь ценностные коды (в первую оче­редь моральные) и всегда были неполными и произвольными.

2) Он обеспечивает социализацию, тотальную секуляриза­цию опознавательных знаков; тем самым он связан, по край-

211

ней мере формально, с эмансипацией социальных отноше­ний. Вещи не просто делают более приемлемой нашу мате­риальную жизнь, приумножаясь как потребительские блага; они делают более приемлемым и наш взаимный статус по от­ношению друг к другу, образуя общую систему опознаватель­ных знаков. Система «стэндинга» обладает уже тем достоин­ством, что делает бессильными все кастовые и классовые ритуалы, вообще все прежние (внутренние) критерии соци­альной дискриминации.

3) Впервые в истории он образует *универсальную* систему знаков и их прочтения. Можно сожалеть о том, что он вытес­няет другие системы, но можно рассудить и наоборот: само неуклонное обессиливание прочих систем (происхождения, класса, должности), расширение конкуренции, беспример­ная социальная мобильность, ускоренная фильтрация обще­ственных групп, неустойчивость и множественность их язы­ков — все это с необходимостью вело к созданию ясного, не­двусмысленного, универсального опознавательного кода. В мире, где ежедневно встречаются миллионы незнакомых друг с другом людей, код «стэндинга» удовлетворяет их жизнен­ную потребность знать, с кем имеешь дело, а тем самым вы­полняет важнейшую социальную функцию.

Однако:

1) Такая универсализация и эффективность достигаются ценой крайнего упрощения, обеднения, когда язык соци­ального достоинства регрессирует чуть ли не до предела: «Человека характеризуют его вещи». Связность системы достигается благодаря созданию некоторой комбинатори­ки, набора условных элементов; то есть этот язык функцио­нален, но символически и структурно беден.

2) Из того факта, что система прочтения и опознавания знаков действует сегодня для всех, что знаки достоинства всецело социализировались и объективировались, отнюдь не вытекает еще реальная «демократизация». Представля­ется, напротив, что *принудительная соотнесенность с одной системой лишь обостряет желание дискриминации;* в рамках самой этой однородной системы явно развертывается, по­стоянно обновляясь, навязчивое стремление к иерархичес-

212

ким отличиям. Барьеры морали, этикета и языка рушатся, зато в сфере вещей возникают новые барьеры, новые ис­ключительные правила; эта новая классовая или кастовая мораль сумела проникнуть даже в самую бесспорную мате­риальность вещей.

Итак, хотя в наши дни благодаря коду «стэндинга» устанавливается универсальный строй значений, наглядно читаемый и допускающий интенсивную циркуляцию соци­альных представлений на всех ступенях общества, само об­щество от этого отнюдь не делается прозрачным. Этот код дает нам лишь иллюзию прозрачности, осознанности со­циальных связей, за которой по-прежнему скрываются неосознаваемые подлинные структуры производства и со­циальных отношений. Общество могло бы стать прозрач­ным лишь в том случае, если бы строй значений был в нем столь же познан, как и строй социальных фактов и струк­тур. Этого не происходит в системе «вещи/реклама», пред­лагающей нам лишь один код значений — всякий раз не­добросовестный и непрозрачный. Кроме того, вызывая в силу своей связности чувство формальной защищеннос­ти, он еще и служит для общества лучшим средством рас­пространить свое имманентное и постоянное влияние на всех своих членов.

#### Заключение: к определению понятия «потребление»

Свой систематический, на разных уровнях, анализ отношений человека с вещами нам хотелось бы завершить определением самого понятия «потребление», потому что именно в нем сходятся все элементы современной практи­ки в данной области.

Действительно, потребление можно считать характерной чертой нашей промышленной цивилизации — но при усло­вии, что мы раз и навсегда освободим это понятие от его привычного значения «процесс удовлетворения потребно­стей». Потребление — это не пассивное состояние погло-

213

щения и присвоения, которое противопоставляют активно­му состоянию производства, чтобы уравновесить таким об­разом две наивных схемы человеческого поведения (и от­чуждения). Следует с самого начала заявить, что потребле­ние есть активный модус отношения — не только к вещам, но и к коллективу и ко всему миру, — что в нем осуществля­ется систематическая деятельность и универсальный отклик на внешние воздействия, что на нем зиждется вся система нашей культуры.

Следует недвусмысленно заявить, что объект потребле­ния составляют не вещи, не материальные товары; они об­разуют лишь объект потребностей и их удовлетворения. Люди во все времена что-то покупали, чем-то владели, пользовались, совершали траты — но при этом они не «по­требляли». «Первобытные» празднества, расточительство феодального сеньора, буржуазное роскошество XIX века — все это не потребление. И пользоваться таким термином применительно к нашему современному обществу мы впра­ве не потому, что больше и лучше питаемся, получаем боль­ше образов и сообщений, имеем в своем распоряжении боль­ше технических устройств и «гаджетов». Ни объем матери­альных благ, ни удовлетворяемость потребностей сами по себе еще не достаточны для того, чтобы определить поня­тие потребления; они образуют лишь его предварительное условие.

Потребление — это не материальная практика и не феноменология «изобилия», оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни маши­ной, в которой ездит, ни речевым или визуальным содержа­нием образов или сообщений, но лишь тем, как все это орга­низуется в знаковую субстанцию: это *виртуальная целост­ность всех вещей и сообщении, составляющих отныне более или менее связный дискурс.* Потребление, в той мере в какой это слово вообще имеет смысл, есть *деятельность система­тического манипулирования знаками.*

Традиционная вещь-символ (орудия труда, предметы обстановки, сам дом), опосредовавшая собой некое реаль­ное отношение или житейскую ситуацию, несшая в своей

214

субстанции и форме ясно запечатленную, сознательную или же бессознательную, динамику этого отношения — а стало быть, лишенная произвольности, — такая вещь, будучи свя­зана, пропитана, насыщена коннотацией, но оставаясь живой в силу своей внутренней транзитивности, соотнесен­ности с определенным поступком или жестом человека (кол­лективным или же индивидуальным), не может потреблять­ся. *Чтобы стать объектом потребления, вещь должна сделаться знаком,* то есть чем-то внеположным тому отно­шению, которое она отныне лишь обозначает, — *а стало быть, произвольным,* не образующим связной системы с дан­ным конкретным отношением, но обретающим связность, то есть смысл, в своей абстрактно-систематической соот­несенности со всеми другими вещами-знаками. Именно тогда она начинает «персонализироваться», включаться в серию и т.д. — то есть потребляться — не в материальности своей, а в своем отличии.

Из такого преображения вещи, получающей систематиче­ский статус знака, вытекает и одновременное изменение че­ловеческих отношений, которые оказываются отношениями потребления, то есть имеют тенденцию «потребляться» (в обоих смыслах глагола se consommer — «осуществляться» и «уничтожаться») в вещах и через вещи; последние становят­ся их обязательным опосредованием, а очень скоро и заме­няющим их знаком — *алиби.*

Как мы видим, потребляются не сами вещи, а именно отношения — обозначаемые и отсутствующие, включенные и исключенные одновременно; потребляется *идея отноше­ния* через серию вещей, которая ее проявляет.

Отношение более не переживается — оно абстрагирует­ся и отменяется, потребляясь в вещи-знаке.

Подобный статус отношения/вещи организуется на всех уровнях благодаря строю производства. Реклама постояно вну­шает нам, что живое, противоречивое отношение не должно нарушать «рациональный» порядок производства, что оно дол­жно потребляться, как и все остальное. Оно должно «персона­лизироваться», дабы интегрироваться в этот строй. Перед нами проанализированная Марксом формальная логика товара,

215

доведенная до конечных выводов: подобно тому как потреб­ности, чувства, культура, знания — все присущие человеку силы интегрируются в строй производства в качестве товаров, материализуются в качестве производительных сил, чтобы пойти на продажу, — так и все желания, замыслы, императи­вы, все человеческие страсти и отношения сегодня абстраги­руются (или материализуются) в знаках и вещах, чтобы сде­латься предметами покупки и потребления. Так происходит, например, с семейной парой — ее объективной целью стано­вится потребление вещей, в том числе и тех вещей, которыми прежде символизировались отношения между людьми1.

Перечитаем первые страницы романа Жоржа Перека «Ве­щи» (издательство «Летр нувель», 1965): «Сначала глаз сколь­знет по серому бобриковому ковру вдоль длинного, высоко­го и узкого коридора. Стены будут сплошь в шкафах из свет­лого дерева с блестящей медной окантовкой. Три гравюры (...) подведут к кожаной портьере на огромных черного дере­ва с прожилками кольцах, которые можно будет сдвинуть одним прикосновением... (Потом) будет гостиная: в длину семь метров, в ширину три. Налево, в нише, станет широкий потрепанный диван, обитый черной кожей, его зажмут с двух сторон книжные шкафы из светлой вишни, где книги напи­ханы как попало. Над диваном всю стену закроет старинная морская карта. По другую сторону низенького столика, над которым будет висеть, оттеняя кожаную портьеру, шелковый молитвенный коврик, прибитый к стене тремя гвоздями с ши­рокими медными шляпками, под прямым углом к первому дивану станет второй, крытый светло-коричневым бархатом, а за ним темно-красная лакированная горка с тремя полками для безделушек. (...) Дальше (...) полки углом с вмонтирован­ным в них проигрывателем, от которого будут видны лишь четыре рычага из гильошированной стали, на полках — ко­робки с магнитофонными лентами и пластинки...» (с. 12)2.

1 Так, в Соединенных Штатах супругов призывают ежегодно обнов­лять обручальные кольца и «отмечать» свои отношения подарками и «совместными» покупками.

2 *См.:Ж.Перек.* Веши. — В кн.: Французские повести. М., 1972. С. 201-202. — *Прим. перев.*

216

Очевидно, что в этом «интерьере», хоть он и насыщен мяг­кой ностальгичностью, ничто не обладает символической значимостью. Достаточно сравнить это описание с описани­ем интерьера у Бальзака, и станет понятно, что здесь в вещах не запечатлено никакое человеческое отношение, — здесь одни лишь знаки, чистые знаки. Ничто не наделено «присут­ствием» или же историей, зато все богато отсылками — вос­точными, шотландскими, early American и т.д. Во всех этих вещах *есть только единичность —* они абстрактны в своих отличиях (в своем отсылочном способе существования) и комбинируются именно в силу этой своей абстрактности. Перед нами — мир потребления1.

В дальнейшем повествовании становится понятной и фун­кция такой системы вещей/знаков: не символизируя собой какое-либо человеческое отношение, все время пребывая вне его, в «отсылочности», они тем самым описывают неизбыв­ную пустоту отношений, когда оба партнера взаимно не су­ществуют друг для друга. Жером и Сильвия не существуют как супружеская чета; их единственная реальность — это «Жером-и-Сильвия», некое чистое соучастие, которое проступает сквозь обозначающую его систему вещей. Но нельзя и сказать, чтобы вещи механически подменяли собой отсутствующие от­ношения, заполняли пустоту, — нет, они *описывают* эту пусто­ту, то место, где должны были бы быть отношения; подобный жест позволяет, не переживая отношения, тем не менее посто­янно обозначать его (кроме случаев полной регрессии) как некоторую возможность переживания. Человеческое отноше­ние не увязает в абсолютной позитивности вещей, а опирает­ся на них как на материальные звенья в цепи значений, — дру­гое дело, что эта знаковая конфигурация вещей чаще всего оказывается скудно-схематичной, замкнутой, и в ней лишь бесконечно повторяется *идея отношения,* которое людям не дано пережить. Кожаный диван, проигрыватель, безделушки, нефритовые пепельницы — во всех этих вещах обозначается

1 В «интерьере» Ж. Перека мы имеем дело с вещами, которые уже трансцендентны в силу своей модности, а не с «серийными» вещами. В этом ин­терьере царит тотальное культурное принуждение — своего рода культур­ный терроризм. Но в самой системе потребления это ничего не меняет.

217

*идея отношения,* она в них «потребляется», а тем самым и от­меняется как реально переживаемое отношение.

Таким образом, потребление определяется как систематиче­ская *тотально идеалистическая практика,* которая далеко вы­ходит за рамки отношений с вещами и межиндивидуальных отношений, распространяясь на все регистры истории, коммуникации и культуры. То есть остается живым стремле­ние к культуре — но в роскошных изданиях и литографиях на стенах столовой *потребляется* одна лишь ее *идея.* Остает­ся живым стремление к революции, но, не актуализируясь на практике, оно потребляется в форме идеи Революции. В качестве идеи Революция и впрямь оказывается вечной и бу­дет вечно потребляема подобно любой другой идее — все, даже самые противоречивые идеи могут уживаться друг с дру­гом в качестве знаков в рамках идеалистической логики по­требления. И вот Революция обозначается в комбинаторной терминологии рядом неопосредованных терминов, где она дана как уже свершившаяся, где она «потребляется»1.

Точно так же и предметы потребления образуют идеалис­тический словарь знаков, в которых даже сам жизненный про­ект человека обозначается с призрачной материальностью. Об этом тоже можно прочесть у Перека (с. 15): «Иногда им каза­лось, что вся их жизнь могла бы гармонически протечь среди таких стен, уставленных книгами, среди предметов до того обжитых, что, в конце концов, начнет казаться, будто они были созданы такими прекрасными, простыми, приятными и по­слушными специально для них. Но ни в коем случае они не прикуют себя к дому — иногда они будут пускаться на поиски приключений. И тогда никакая фантазия не покажется им не­возможной»2. Только все это излагается именно в предполо­жительном наклонении, и вся книга это опровергает: нет боль­ше никакого проекта, есть только вещи, объекты. Вернее ска-

1 Показательна сама этимология: «все потреблено» (tout est consommé) значит «все свершено», но также, разумеется, и «все истреблено». Если Рево­люция «потребляется» в форме идеи Революции, то это значит, что тем са­мым Революция и совершается (формально) и отменяется; то, что здесь дано как реализованное, отныне оказывается неопосредованно потребимым.

2 См.: *Ж.Перек.* Вещи. — Указ. изд. С. 205. — *Прим. перев.*

218

зать, проект не исчез — просто он довольствуется знаковой ре­ализацией через вещь-объект. То есть объект потребления — это как раз и есть *то самое, в чем «смиряется» проект.*

Этим объясняется то, что *у потребления нет пределов.* Если бы оно было тем, чем его наивно считают, — поглощением-пожиранием благ, — то рано или поздно наступало бы пресы­щение. Если бы оно относилось к сфере потребностей, то мы должны были бы прийти к удовлетворению. Однако мы зна­ем, что это не так: людям хочется потреблять все больше и боль­ше. Такое нарастающее потребительство обусловлено не ка­кой-то психологической фатальностью (пьяница будет пить и дальше, и т.п.) и не просто требованием престижа. Потребле­ние именно потому столь неистребимо, что это тотально иде­алистическая практика, которая за известным порогом уже не имеет более ничего общего с удовлетворением потребностей или же с принципом реальности. Дело в том, что проект, сооб­щающий ей динамику, всегда оказывается разочарован подра­зумевающей его вещью. Получив неопосредованное существо­вание в знаке, он переносит свою динамику на бесконечное и систематическое обладание все новыми и новыми потреби­тельскими вещами/знаками. Тогда потребление, чтобы остать­ся собой, то есть жизненным принципом, должно либо пре­взойти себя, либо бесконечно повторяться. А сам жизненный проект, будучи раздроблен, разочарован и включен в знако­вую систему, вновь и вновь возникает и отменяется в череде вещей. Поэтому мечтать об «умеренном» потреблении или же о создании какой-то нормализующей его сетки потребностей — наивно-абсурдный морализм.

Бесконечно-систематический процесс потребления проистекает из несбывшегося императива целостности, ле­жащего в глубине жизненного проекта. В своей идеальнос­ти вещи/знаки эквивалентны друг другу и могут неограни­ченно умножаться; *они и должны это делать,* дабы ежеми­нутно восполнять нехватку реальности. Собственно говоря, потребление неистребимо именно потому, что основывает­ся на некотором *дефиците.*

Обработка : kirnik.km.ru  
Выходные данные:  
Издательство «РУДОМИНО» МОСКВА, 2001  
ББЛ 84.4.  
Фр. Б75  
Перевод выполнен по изданию: Jean Baudrillard. Le systeme des objets. Gallimard, 1991 (Collection Tel)  
Перевод с французского и сопроводительная статья С. Зенкина

ISBN 5-7380-0156-7 ISBN 5-7380-0038-2

© Издательство «Рудомино». 2001  
© С.H. Зенкин, перевод. 1995, 2001